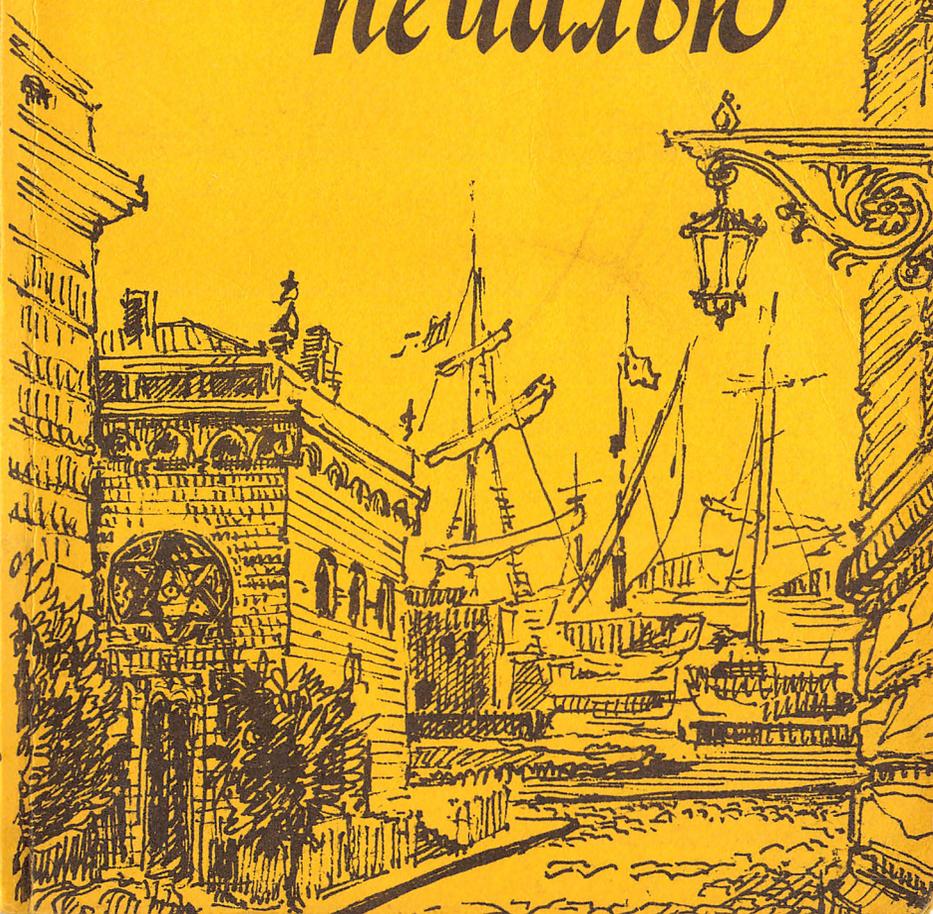


АРКАДИЙ ЛЬВОВ

Утешение печалью



АРКАДИЙ ЛЬВОВ

Утешение печалью

Аркадий Львов

УТОЛЕНИЕ ПЕЧАЛЮ

Опыт исследования
еврейской ментальности

Первая книга

**«Время и мы»
1983**

Arkady Lvov

THE SEASON OF SORROW

In search of the Jewish mentality

© Arkady Lvov, Paul Binstein

All rights reserved.

**No part of this publication may be
reproduced or translated
in any form or by any means,
without permission.**

**Cover design by Victor Ochakovsky,
Isaac Davner**

1983

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читатель!	6
Утоление печалью	11
Простота неслыханной ереси	55
Верность и отступничество Эдуарда Багрицкого	73
Рыжий Мотэле	131
Девушка из хорошей семьи	195
Песнь о ребе	225

Читатель!

Во Франции, когда она была еще королевством, по смерти сюзерена возглашали: "Король умер! Да здравствует король!"

Покинув страну, где все было под цензурой, мы обретаемся ныне в свободном мире, где нет цензуры. И посему воскликнем: "Цензура умерла! Да здравствует цензура!"

Что значит уважать ближнего своего? Уважать ближнего своего — это, прежде всего, быть себе цензором, то есть не бояться суда человеческого, но при этом почитать его. Почитание суда человеческого — это верность правде.

Правду надо отстаивать — не только от других, но и от себя: от малодушия своего, от робости, от благоразумия с вкрадчивым его шепотом: "Ну зачем тебе это надо!"

Раз возник вопрос: "зачем тебе это надо", значит, надо!

Откуда идет это "надо" — вопрос особый. Как сказал один большой ученый, человечество сделало два главных открытия: одно, — что Бога нет, другое, — что Бог есть.

Евреи были первыми среди людей, кто сказал: Бог наш — Бог един!

Почему именно евреи? Тора, Моисеево Пятикнижие, отвечает: евреи — первые, потому что так было угодно Богу.

Почему так угодно было Богу — на наше дело. Другое дело, — какие были у евреев качества.

Вот об этом — о свойствах, которые делают еврея евреем, — будет наш разговор. Не разговор вообще — на это мы большие мастера! — а конкретный разговор о евреях-поэтах, евреях-писателях в русской советской литературе: как и почему они оставались евреями, когда все вокруг и сами они кричали на весь мир: "Даешь интернационал!"

Что в СССР нет об этом работы — в порядке вещей. Но что нет такой работы и за пределами СССР — это уже не в

порядке вещей. Казалось бы, кто-то, а сами евреи должны были поинтересоваться собственной ментальностью, как она выражалась у ихних сородичей на берегах Днепра и Волги. Но факт есть факт: не поинтересовались.

Настоящая работа — "Опыт исследования еврейской ментальности" — задумана в трех книгах. Первая: "Утоление печалью". Вторая: "Желтое и черное" — Мандельштам, Пастернак и кое-кто поменьше. Третья: "Родословная" — понемногу о многих.

В первой книге шесть портретов: Бабель, Багрицкий, Уткин, Инбер, Светлов и Катаев. Катаев — не еврей.

Попал в эту компанию он случайно: благодаря своей исповеди "Алмазный мой венец", в которой так откровенно и так обстоятельно высказался о Бабеле, как никогда прежде не высказывался. Этот взгляд на еврея со стороны тоже имеет свой интерес для нас.

Тема данной книги не иудаизм, а еврейская психология, еврейская ментальность.

Среди сохранившихся записей Бабеля есть такая: "Молился". Однако специальный вопрос об отношении писателя к Богу выходит за рамки книги.

Когда очерк о Бабеле был уже готов, автору выдался случай повстречаться, во время кратковременного ее визита в США, с редактором из Москвы. В свое время сотрудница комиссии по литературному наследству Бабеля, она подтвердила, что у Бабеля действительно был роман о чекистах "Толя Топуз". Судьба романа неизвестна.

По словам этого же редактора, в пятьдесят втором году жена репрессированного чекиста Еланская показывала письмо от своего мужа, переданное ей бывшим зэком, неким Завадским, Антонине Николаевне Пирожковой. Из письма следовало, что Антонина Николаевна вовсе не вдова Бабеля, ибо

Бабель жив! Про письмо сообщила моей собеседнице сама Антонина Николаевна.

Известно, что Бабель был вхож в дом Ежова. Менее известно, что был он в интимных отношениях с красавицей Евгенией Самойловой, женой Ежова, одесской еврейкой, в те годы редактором журнала "СССР на стройке". Один номер этого журнала – о свекле – целиком написан Бабелем.

Где родился Бабель: в Одессе, в Николаеве или где-нибудь в другом месте? Промелькнувшее недавно в эмигрантской печати сообщение о метрическом свидетельстве, выданном в Одессе на имя Исаака Мануиловича Бобеля, безусловно шаг в агиографии писателя, но куда – вперед или вбок? – еще предстоит выяснить.

Хотел ли Бабель навсегда остаться во Франции? Мысли, безусловно, были. Сообщение Юрия Анненкова находит косвенное подтверждение в письме Бабеля Льву Никулину. Однако матери своей он писал: "...в Париже что-то во мне было не свое, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь". В тридцать третьем году из Парижа он писал Льву Никулину: "Эренбург богат – американцы в который раз купили у него "Жанну Ней". Я же, напротив, беден".

Как ни странно, в советском литературоведении, где есть монографии о Багрицком, об Уткине, об Инбер, о Светлове, до сих пор нет книги о Бабеле. Впрочем, почему странно? Именно потому, что о них есть, не может быть монографии о Бабеле – таком клятом еврее, что книга о нем, хочешь – не хочешь, должна быть книгой о еврействе.

Гораздо больше евреем, чем принято думать, оказался Михаил Светлов. Правда, свою первородную, от папы, фамилию он упрятал так, что на момент, когда пишутся эти строки, обнаружить ее не удалось. На вопрос друга: "А когда вы придумали псевдоним "Светлов"?" – он ответил: "В

тысяча девятьсот девятнадцатом году. Кажется, мне придумал отец. Был такой редактор "Нивы" – Светлов. Отец и предложил мне взять эту фамилию".

Слова эти, которые не вполне согласуются с тем, что говорит отец в ранних стихах поэта, были сказаны, когда поэт досчитывал в этом мире уже последние свои дни.

Увы, в какие только одежды не обряжаем мы правду, только бы не увидеть ее нагой!

Но ближе к делу: "Размышления мои побуждают меня отвечать, и я спешаю выразить их" (Иов, 20:2).



УТОЛЕНИЕ ПЕЧАЛЬЮ

**Сила жаждет, и только печаль
утоляет сердца.**

Несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Уже опали листья и тридцать шестого, и тридцать седьмого, и тридцать восьмого: кого надо — расстреляли, кого надо — спровадили на Колыму, кого надо — снарядили на вечное поселение в тайгу, в тундру, в рудники, края, коими спокон веку обильна Русь. Уже и тех, кто расстреливал, спроваживал, снаряжал, поставили вместе со сталинским их наркомом, одетым на все сезоны года и на все погоды одинаково — в ежовые рукавицы, — к стенке, уже и новый хозяин из горной Мингрелии смотрел на Москву, на Россию из окна своей бухгалтерии на Лубянке, а главный Хозяин, кремлевский горец, вынув трубку изо рта, укоризненно качал головой и цокал языком: "Ай, как некрасиво поступил товарищ Ежов: партия доверяла ему, а он обманул партию".

Уже новым, неведомым прежде смыслом полнились слова: кондуктор, нажми на тормоза! А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Шлялось в этот раз под окнами у одесского еврея, имевшего вид на жительство в стольном городе Москве, у одесского еврея, имя которому было Исаак Бабель. Исаак Эммануилович Бабель.

Было это в поселке Переделкино, весенним утром тридцать девятого года, в мае, "в чудеснейшем, — как говорил другой еврей, поэт из Германии, — месяце мае, когда расцветает любовь...".

Был этот одесский еврей, как все одесские евреи, любопытен от рождения. Любопытен и любознателен. До шестнадца-

ти лет по собственному рвению, а также по настоянию отца, который держал свою лавку на Молдаванке, на Госпитальной улице, — изучал он еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно. Не потому трудно, что не было куска хлеба, — слава Богу, кусок хлеба был, — а потому, что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхать приходилось только в школе, которая именовалась Одесским коммерческим имени императора Николая Первого училищем. В школе этой обучались сыновья иностранных купцов, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных биллиардистов. А более всего было там сыновей еврейских маклеров: из каждых трех учащихся двое были из порядочных домов, порядочных еврейских домов. На переменах они имели обычай уходить в греческие кофейни играть на биллиарде, сделать променад в порт, не ради будущей своей профессии негоциантов, а просто поклоняться вдоль эстакады и посмотреть на пароходы. А к этому они сделали себе привычкой отправляться еще на Молдаванку пить дешевое бессарабское вино.

Эти дни — золотые дни! — врезались в память так, что много лет спустя сорокалетний Бабель стал звать своего умирающего друга, поэта, тоже из Одессы, певца Тиля Уленшпигеля, Томаса Гуда, махновца Опанаса и жида Иосифа Когана, домой: "Пора бросить чужие города... пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории и стариться..." И поэт, одолевая смертельное свое удушье, отвечал:

Вернись обратно, Виттингтон,
О Виттингтон, вернись обратно!

Ах, Боже мой, какой одессит не тосковал по Одессе: даже Владимир Жаботинский — уже не Владимир, а Зеев! — тосковал.

Человек, который не задает вопросов, было однажды замечено, наполовину мертв. Бабель всю свою жизнь, — по крайней мере, до весны тридцать девятого года, когда вопросы до самого уже последнего его дня, 17 марта 1941 года, стали задавать преимущественно ему, — задавал вопросы всем: себе, другим, Богу. Эти вопросы до революции привели его в Петербург, где у него не было правожительства и приходилось квартировать в погребе у растерзанного, пьяного официанта. Затем привели его на румынский фронт солдатом, затем в ЧеКа, в Наркомпрос, в продовольственные экспедиции — кто мог в те дни сказать, где кончается продовольственная экспедиция и где начинается карательная экспедиция! — 1918 года, в Северную армию против Юденича, в Первую конную армию Буденного, в одесский губком, опять в Петербург, в Тифлис и проч.

В тридцатые годы, после того как на Первом всесоюзном съезде писателей он произнес двусмысленные слова о "героизме молчания", он продолжал задавать вопросы. В поисках ответа он заходил к своим знакомым, среди них была и жена Ежова. Он знал, что "дело не в Ежове", знал, как опасно заходить к нему в дом на чай. Но, Боже мой, надо ли объяснять, что одесский еврей, который хочет "разгадать загадку", готов заплатить чем угодно. Да, да, чем угодно, ибо именно в Одессе впервые было сказано: "умирать от любопытства". Те, что видят в этих словах гиперболу или метафору, глубоко заблуждаются: эти слова следует понимать буквально, в физическом, точнее, даже в физиологическом их смысле.

Бабель в те дни говорил: "Теперь человек разговаривает откровенно только с женой — ночью, покрыв голову одеялом". Однако он умирал от любопытства и, хотя, следуя собственному рецепту, должен был бы разговаривать откровенно только с женой, ночью, покрыв голову одеялом, разговари-

вал откровенно не только с женой и не только ночью — в противном случае до нас бы не дошли эти его слова, — а днем совершал поступки, в сущности, те же слова, которые, очень может быть, и стоили ему жизни. Во всяком случае, поздний его арест, арест в одиночку, а не в общем потоке представляется загадочным. Были слухи, что он позволил себе даже шутку в адрес Хозяина; говорили и другое, — что у Буденного, который смертельно был оскорблен "Конармией", оказалась длинная рука. Однако на последнее можно бы возразить, что и у Ворошилова была рука не короче, а по словам Юрия Анненкова, которые тот слышал от самого Бабеля в Париже, Ворошилов в споре своего коллеги конника с писателем взял сторону писателя.

Реабилитирован Бабель был на следующий год после смерти лучшего друга советских писателей и поэтов — для реабилитации других литераторов советскому правосудию понадобилось много больше времени — и уже в 1957 году вышла книга "И.Бабель. Избранное", с предисловием Ильи Эренбурга. В этом предисловии Эренбург говорит, что дважды в своей жизни он волновался, как заочно влюбленный, встретивший наконец предмет своей любви, — так было с Бабелем, а десять лет спустя с Хемингуэем. Напомним, что оба, и первый и второй, были моложе Эренбурга, а подобные признания последний делал только в отношении тех, — независимо от ранга гения, — кто был много старше его: Томас Манн, Генрих Манн, Горький, Бунин, Джойс.

Не успела, что называется, типографская краска просохнуть на страницах первого посмертного издания "Конармии" и "Одесских рассказов", как пошла против них в наступление те, кого позднее называли почвенниками, патриархальщиками, деревенщиками. Атакуя в открытую автора предисловия Эренбурга, они на страницах журналов "Вопросы лите-

ратуры” и ”Нева” под обкатанными еще во времена Хозяина титлами ”По поводу некоторых статей и предисловий” и ”Уроки” доказывали, что Бабель не только не нашенский художник, но и вообще черт-те знает кто, человек без роду, без племени, точнее, не то, чтобы совсем без племени, но такого племени, что уж лучше бы — елки-моталки! — был он и в самом деле никакого племени. Хотя, с другой стороны, как же без племени, коли все — и манера говорить, и манера молчать, и манера мыслить, и парша — пардон, плешь! — и привычка совать всюду свой нос — все выдает энтих, которые не из Горелова, не из Неелова, Неурожайки тож, а оттуда, где этроги, где фиги, короче, из иерусалимских дворян.

Атака, хотя и была лихая, однако надобно признать, не с кондачка али по другой какой легковесной причине. Напротив, было все чин-чинарем, хорошо, видно, люди подумали, прежде чем молвить слово, которое, как известно, не воробей: вылетит — не поймает.

Была, правда, в этой атаке одна занятная деталь. Хотя в свое время отец-основоположник социалистического реализма публично сравнил Исаака Бабеля с Николаем Гоголем и даже признал, что первый украсил своих казаков лучше, нежели классик своих, а известный критик Павел Новицкий в очерке ”Бабель”, писанном тогда же, в середине 20-х годов, текстуально сопоставил ”Видение мурзы” и ”Жизнь званскую” по части эпитетов с рассказами из ”Конармии” и тем установил некую родственность меж Державиным и Бабелем, однако оба журнала, и московский и ленинградский, не пожелали возжаться с этими литературными фактами. А зря! И в первой паре, Гоголь—Бабель, интересно бы сопоставить, как описывали жидов один и другой, а уж во второй паре, Державин—Бабель, открывались наблюдателю сияния такой яркости, что и слепой бы прозрел. Ведь это не кто иной,

как он, батюшка Гавриил Романович Державин, поэт и сенатор, первый на Руси рекомендовал своему монарху Павлу Петровичу "ввоз из-за границы всех еврейских книг запретить"! И в деталях — тут бы любой канцелярской крысе от зависти повеситься на первом суку! — с наимельчайшими подробностями, расписал, как прижать жидов к ногтю, чтобы не таскали через границу контрабандой свои Торы да Талмуды.

Что же касается собственно поэтических изысканий, то представлялась во втором случае весьма заманчивая возможность продолжить исследования Новицкого с одним, однако, существенным дополнением: установить окончательно, по причине ли заимствований перекликается метафорический ряд Бабеля с державинским, или по той общей для первого и второго причине, что оба черпали из одного источника, по-еврейски именуемого Танах, а по-русски — Ветхим Заветом. Нисколько не предвосхищая выводов будущих исследователей, заметим, тем не менее, со всей определенностью, что и русский поэт Державин, и еврейский, писавший по-русски, писатель Бабель — оба понаторели в знании Священного Писания. Однако каждый на свой, — если угодно, племенной — лад. Державинские "яхонтовы взоры", "багряная в устах заря", "пурпур в ягодах", несомненно, сродни по природе своей бабелевскому "горящему пурпуру мантий", "пыльному золоту закатов", но попробуйте представить себе у Державина "палевые коровьи сосцы" или "малиновые бородавки"!

Новые времена — новые песни. Писатель, сочинения которого в двадцатые годы препарировались и раскладывались критиками по полкам под общей — вполне подходящей для уголовного судопроизводства! — рубрикой "Поэзия бандитизма", а в конце пятидесятых годов брались на дотошный химический анализ по причине исходившего от них чесночного и луковичного запаха (на Украине народ метко заметил:

цибуля – жидовское сало!), в семидесятые годы, то есть совсем уже недалеко от нынешних дней, внезапно был объявлен вполне своим. Литературовед Юрий Андреев в фундаментальной и, несомненно, установочной монографии – во втором издании она была выпущена невиданным для литературоведения тиражом 20 тысяч! – ”Революция и литература” приводит из дневниковых записей Фурманова весьма интересные слова Бабеля о том, почему он не справился с романом о чекистах. Вот они эти слова: ”И это оттого, что чекисты, которых знаю, ну... ну, просто святые люди. И я опасаясь, не получилось бы приторно”. Если к этому добавить, что Бабель имел еще намерение написать – хотя так и не написал! – ”десять серьезных больших новелл, в них будет положительное о коннице, они должны будут восполнить пробел”, то мы уже сами почти вплотную подходим к тому мажорному заключению, которым завершаются страницы о Бабеле: ”Творчество И.Бабеля, весьма интересное само по себе, представляет собой бесценный материал для теории литературы: начав в качестве писателя демократического по духу, но с абстрактно гуманистическими взглядами, И.Бабель, стремясь быть всегда искренним и пуще смерти боясь фальши и приторности, веря лишь самому себе и своему опыту, двигался к социалистическому реализму. Его эволюция была медленной и противоречивой, движение вперед нередко сопровождалось анахроническими произведениями, но это была неуклонная эволюция”. Странно, что автор поставил здесь точку. Думается, в этом случае сделал свое нечистое дело механизм малодушия или ложного стыда, ибо закончить, согласно логике, следовало так: ”но это была неуклонная эволюция в сторону социалистического реализма”. Правда, соцреализм был помянут уже строкой выше, однако эмоционально законное место ему было именно в конце, ибо конец – делу венец.

Ну, каков был соцреалист Бабель и каким был его соцреализм, думается, объяснять не надо: найдите сегодня человека, который не читал Бабеля или, по крайней мере, не слышал про бабелевского Беню Крика, и все будут показывать на него пальцем. Здесь, в Америке, как мы узнали, показывать на человека пальцем — это почти то же самое, что там, на нашей не-исторической родине, России, назвать человека известным словом из трех букв.

А теперь вернемся, во-первых, к плану Бабеля написать роман о чекистах и к словам его о том, что "чекисты, которых знаю, ну... ну, просто святые люди", и, во-вторых, к плану его написать "десять серьезных больших новелл, в них будет положительное о коннице, они должны будут восполнить пробел".

Прежде всего у обоих планов бросается в глаза одна общая черта: ни один, ни другой не был осуществлен. Первый потому, что чекисты были "ну, просто святые люди", и по этой причине писатель опасался как бы не получилось приторно. А второй по той причине... По какой? Тут уж вовсе никаких объяснений Бабеля не находим и надобно целиком догадываться самим. Целиком, говорим мы, потому что и в первом случае объяснение Бабеля не вполне устраивает нас и пусть не на обе половины, но на большую, как говорили в Одессе, половину ответ мы должны домысливать сами.

Прежде всего заявим со всей определенностью: хотя Бабель делился своими мыслями и планами с Дмитрием Фурмановым, человеком, скорее всего, порядочным, безусловно талантливым и к тому же почитавшим автора "Конармии", однако автор "Конармии", несомненно, лукавил с автором "Чапаева". Почему беспартийный писатель — не забудем также, что автор рассказов о коннице Буденного был к тому же родом не из донских али кубанских казаков — лукавил с писа-

телем, который имел репутацию образцового большевика еще при жизни, смеем думать, понятно всякому. То обстоятельство, что десятилетие спустя, на заседании, посвященном памяти Фурманова, Бабель произнес проникновенные слова: "Я стал в своей памяти перебирать праведников и грешников. Скажу откровенно, что грешников я нашел очень много, а вот настоящего праведника только одного: того человека, который умер десять лет назад и в честь которого мы сегодня собрались", – не меняет сути дела. Автор "Конармии", которая срывала легендарный, ультрареволюционный и ультрабольшевистский флер с красных конников Буденного, не мог, хотя была еще только середина заревых 20-х, а не кровавых 30-х годов, не мог не лукавить. Так же, как не мог не лукавить К.Лютов, с документом на имя которого – а не на свое собственное имя! – Исаак Бабель был прикомандирован к газете "Красный кавалерист".

Однако не будем впадать в крайность: лукавство это было отнюдь не то же, что сознательная, намеренная ложь. Разве лгал К.Лютов в газете "Красный кавалерист", в номере от 19 сентября 1920 года, когда на пронзительной ноте, во всю глотку, степным голосом казачьего комиссара выкрикал: "Вот они, наши героические сестры! Шапку долой перед сестрами! Бойцы и командиры, уважайте сестер! Надо наконец сделать различие между обозными феями, позорящими нашу армию, и мученицами-сестрами, украшающими ее"? Нет, не лгал. Но в прозе, где автором уже не К.Лютов, а Исаак Бабель, не находим "наших героических сестер", а находим лишь "опухшую Сашку, даму всех эскадронов", которая, перевязывая раны умирающему Шевелеву, командиру полка, своему фронтовому мужу, тут же, на глазах у него, делается с Левкой, кучером. Отряхнувшись, она снова берется за бинты и говорит Шевелеву: "К завтраму уйдешь. Она в кишках у тебя, смерть..."

Не лгал Бабель и в другом случае: когда говорил, что хотел бы написать десять серьезных больших новелл, в которых было бы положительное о коннице. Не лгал и тогда, когда аттестовал заплечных дел мастеров из ведомства железного Феликса "ну, просто святыми людьми", ибо тут же спешил оговориться: не обо всех них идет речь, не о большинстве их и даже не о меньшинстве, а лишь о тех нескольких, "которых знаю".

И тем не менее, повторяем, хотя не было все это ложью, не было оно и правдой. А было лишь полуправдой: Бабель действительно хотел написать десяток серьезных положительных новелл о коннице Буденного, Бабель действительно встречал в ЧК "святых", столь же фанатичных и преданных своему делу, сколь фанатичны и преданы были своему делу, скажем, Торквемада и Игнатий Лойола. Однако воспеть буденновских рубак в серьезных положительных новеллах, а такие возможны были лишь в ключе соцреализма, Бабель не мог — и это не было для него секретом. Однако сочинить роман-панегирик о "святых чекистах" Бабель не мог — и это для него тоже не было секретом. А не мог по той простейшей причине, что вся его иудейская натура, вся душа еврея, сына еврея, внука, правнука и праправнука евреев, у которых за плечами было уже четыре тысячи лет страданий, скитаний и нсистовых, горячечных молитв, обращенных к Ягве, вопияла: не сотвори кумира! не сотвори идола! не сотвори фетиша! Не сотвори и не поклоняйся ему!

В 1924 году в "критическом романсе", как назвал Шкловский кокетливо свое эссе о Бабеле, было писано: "Иностранец из Парижа... Бабель увидел Россию так, как мог увидеть ее француз-писатель, прикомандированный к армии Наполеона". Пусть читатель не охает и не порывается увидеть в приведенных словах литературный вариант низкого извета, а про-

ще говоря, донос: в те годы печатного слова критика было еще недостаточно, чтобы упрятать писателя в кутузку. Однако чему следует удивляться, так это поразительной слепоте автора "критического романа", который принял одесского еврея за француза-писателя, прикомандированного к армии Наполеона во время похода ее в Россию! Тем более следует удивляться, что совсем еще недавно, в Берлине, состоя в рядах русской белоэмиграции, тот же Виктор Шкловский, мотивируя для себя и своих собратьев-писателей необходимость вернуться в Россию, сделал необычайно пронизательное замечание относительно Марка Шагала, которому не обязательно возвращаться в Россию — не обязательно потому, что Марк Шагал всюду возит с собой свой Витебск.

Да, здесь, что называется, человек попал в самое яблочко, и нам остается лишь добавить, что точно так, как еврей Марк Шагал всюду возил с собой свой еврейский Витебск, еврей Исаак Бабель всюду возил с собой свою еврейскую Одессу. Я говорю "свою еврейскую Одессу" без обиняков, хотя несколько не забыл слова Валентина Катаева: Бабель "же вообще не одессит, он приехал из Николаева, где его папа держал лавку, а потом всю жизнь уверял всех, что родился в Одессе, на Молдаванке". Что Бабель действительно жил в Николаеве, этому есть прямое подтверждение в рассказе "История моей голубятни": "Мне было девять лет... Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в пригосударственный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве Херсонской губернии". Что рассказ этот вполне автобиографический, совершенно очевидно из начальной сцены еврейского погрома и реплики прохожего громилы: "... в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили".

В своих воспоминаниях, которые так и называются "Мы

родились по соседству” Утесов говорит, что родился в Треугольном переулке, а Треугольный переулок почти упирается в Молдаванку, где родился Исаак Бабель. Я спросил у Леонида Утесова: ”Вы уверены, что Бабель родился на Молдаванке?” Утесов ответил: ”Я уверен, что Леонид Вайсбейн, то есть я, родился в Треугольном переулке. А Бабель в своей автобиографии говорит, что он родился на Молдаванке. Я лично думаю, что Молдаванка — это было бы неплохое место для Бабеля, чтобы там родиться. Я вам скажу больше, я думаю, что для самой Молдаванки и самой Одессы — это было тоже неплохо, чтобы у них родился Бабель”.

Утесову, когда мы вели с ним этот разговор, как раз исполнилось восемьдесят лет и только что ему дали орден Октябрьской революции, хотя лично он рассчитывал на героя и золотую звезду. Старик был обижен. Я сказал ему: ”Леонид Осипович, к чему нам резолюции, коль орден Революции звездует на груди!”

Когда я уходил, Утесов сказал:

— Гзвэл гаволим кулой гзвэл. Суета сует и всяческая суета. Вы представляете себе, насколько беднее была бы Одесса, если бы у нее отнять ”Одесские рассказы”.

Что я мог ответить на это? Я мог ответить только одним словом: да. И задать, в свою очередь, встречный вопрос: а вы представляете, насколько бы мы все были беднее без ”Конармии”? ”Одесские рассказы” — это бриллиант, это кох-инур, но венец, корона — это ”Конармия”.

Кого только ни вспоминали, чтобы найти достойное — и уместное — сравнение Бабелю: Гоголя, Флобера, Чехова, Мопассана, Уайльда, О.Генри! Гоголя — потому, что у него тоже были малорусские казаки; Флобера — потому, что эпитеты, особенно в ”Саламбо” ”заедали его, как вши”; Чехова — потому, что ”краткость — сестра таланта”; Мопассана — потому, что

у него много эротики, пуристы говорили, порнографии, а Бабель как раз начал с того, еще до революции, что привлекался по статье 1001 уголовного кодекса за порнографию; Уайльда — потому, что он автор библейски красочных пейзажей "Саломей"; О.Генри — потому, что успех его новеллы был так же стремителен и в несколько месяцев он стал популярнейшим писателем, даже не напечатав ни одной книжки. Были еще и другие сравнения: с Белым, Сологубом, Ремизовым — представителями русской орнаментальной прозы. Но, Боже мой, при всем величии, как убог этот список. Разве Исаак Бабель действительно похож хоть на одного из них — Николая Гоголя, Гюстава Флобера, Ги де Мопассана, Антона Чехова, Оскара Уайльда, Вильяма С.Портера (О.Генри) или Белого, Сологуба, Ремизова! Да и как он может быть похож на них, если, во-первых, они сами не похожи друг на друга, а во-вторых, существует же на белом свете такая вещь, как ментальность. Мы не говорим о ментальности всех упомянутых здесь художников, мы говорим сейчас о ментальности лишь одного из них — Исаака Бабеля.

В 20-е годы, когда евреи в СССР имели еще почти полное равенство, — некоторые сегодня утверждают, что они были в ту пору даже ранее других, но тогда не совсем понятно, каким образом так быстро, в несколько лет, другие стали равнее, — критик Николай Степанов позволял себе восхищаться фантастическими бабелевскими евреями, которые говорили библейскими цитатами, а другой критик, Павел Новицкий, публично свидетельствовал: "У Бабеля — страстный, сухой и точный еврейский ум".

Флобер однажды писал Луизе Колз: "...не существует ни хороших, ни дурных сюжетов, и можно было бы почти установить, как аксиому, что с точки зрения чистого искусства нет вообще никакого сюжета, так как один стиль сам по себе уже есть абсолютный способ видеть вещи..."



Что можно сказать по поводу этих слов? По поводу этих слов можно сказать, что с библиотечных полок, где хранятся пудовые фолианты о природе изящной словесности, можно убрать пару десятков пудов и оставить только один листок с большими, как пишут в первом классе, буквами, которые складывались бы в эти слова, и от этого все люди имели бы один голый вигрыш.

Да, стиль сам по себе уже есть абсолютный способ видеть вещи, видеть мир. И Бабель — это еврейский стиль видеть вещи.

Но что это за птица такая — еврейский стиль видения мира? Когда в будний — а еще лучше, в базарный — день гоим говорят еврею "оставь свои еврейские штуки", объяснений никто не требует: всем все понятно или, по крайней мере, все делают вид, что понятно. Когда про человека говорят, что у него "еврейская голова", никто, даже самых чистых кровей жидомор, не обижается: люди еще не разучились различать, где хвала, а где поношение. Когда в 1882 году мещане города Елисаветграда (теперь Кировоград) устроили еврейский погром, они объясняли это тем, что не могут терпеть "еврейских штук". А штучки эти состояли в том, что еврейские мамы старались из последних сил одеть своих дочек в красивое шелковое платье — крепдешин, файдешин, — как будто — возмущались до кровавой пены на губах елисаветградские обыватели — они какие-то благородные барышни, а не паршивые жидовки. Когда бывший член Государственной думы В.Шульгин и его духовный внук Г.Шиманов, автор "Московского сборника", "Вестника РСХД", "Православной мысли", объясняют, почему они антисемиты, оба ссылаются на "двойную бухгалтерию еврейского мирознания", то есть одну "бухгалтерию" для себя, евреев, а другую — для всего остального мира. Про эту особую, только для своих, бухгал-

терию говорит и А.Солженицын в "Теленке": а евреи, "чужие этой стране", то есть матушке России, "как всегда, о своем". Монархи, министры и прелаты, которые спокон веков отказывали евреям в равенстве перед законом, тоже ссылались на эту "двойную бухгалтерию", которая будто бы даже опирается на закон — разумеется, их еврейский закон, — позволяющий евреям лжесвидетельствовать и давать ложные клятвы другим, не евреям.

Но зачем неевреи, зачем гоим, если сами евреи во все времена, слава Богу, поставляли из своего собственного кагала достаточно хулителей, которые поносили и трепали Абрамчиков да Саррочек так, что на них живого места не оставалось. В наши дни, особенно здесь, в эмиграции, стало признаком хорошего тона обличать евреев как главных виновников и главных делателей Октябрьского переворота.

Из разговоров на эту тему в нью-йоркских салонах, как, впрочем, и в московских салонах, железно следует — взй из мир! — один вывод: не будь евреев, в России не было бы революции или, по крайней мере, — Романовых-то в феврале скинули все-таки не Рабиновичи да Шапиро! — был бы только Февраль, но антихристова Октября, конечно, русский народ не допустил бы.

История — не лаборатория, экспериментов здесь не ставят: каждый опыт — первый и последний опыт. Однако нельзя сделать на практике — это не значит нельзя сделать в уме. Давайте на минуточку представим себе — повторяю, это только розовые мечты, пустые фантазии, — что в России не было евреев. Насчет Февраля никто, кажется, особенно не упирается: раз были декабристы, были царубийства, был Пятый год, от Февраля, кажись, с евреями ли, без евреев ли, а отвертеться уж никак нельзя было. Душно было в России, уж до того душно, что достаточно бы Толстого, Щедрина, Достоевского, Чехова

полистать и так бы захотелось революции, что дальше уж никак откладывать нельзя: и так, почитай, чуть не полвека откладывали.

А вот большевистский Октябрь, не будь евреев, случился бы в России или не случился? Насчет большевистского Октября, который весь, с головы до хвоста, от антихриста, обстоит, повторяем, по-другому, ибо первыми антихристами, со времен еще Пилата, всегда были евреи. И вывод здесь сам в глаза лезет: не будь в России жидов-антихристов, не было бы и антихристово Октября.

Но ведь была на Руси опричнина — царь Иван Васильевич сотнями топил о те дни упрямых жидов, живьем прямо, в реках, — были соляные и стрелецкие бунты, были Болотников, Разин, Пугачев, и как их, народных заступников, резали, жгли, четвертовали царевы слуги, так они резали, жгли, четвертовали, пока доставало сил, бояр да помещиков, да дворян. И это не за годы — за века до того, как Герцен ударил в колокол, а Чернышевский стал звать Русь к топору.

А чем занимались внуки и правнуки их, тож народные заступники, в короткие дни Октябрьской революции и в последовавшие за ней долгие годы братоубийственной гражданской войны? Тем же: резали, жгли, четвертовали, и не чужих, не пришельцев, а своих же: отец — сына, сын — отца, брат — брата.

”Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова ...спешу вам описать за папашу, что они порубали брата (то есть своего сына, брата автора письма. — А.Л.) Федора Тимофеевича Курдюкова. ...Папаша начали Федю резать, говоря, — шкура, красная собака, сукин сын и разное, пока брат Федор Тимофеевич не кончился”.

Однако, как повелось на Руси исстари, долг платежом красен: настиг Семен Тимофеич, брат порубленного Федора, от-

ца своего в городе Майкопе, а ”в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме”, и Семен Тимофеич, требуя папашу своего на расправу, здорово спорился с жидами, потому что те говорили, пришел приказ не рубать пленных, ”но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить”, пока не кончили его, как тот кончил своего сына.

А в промежутке между этими двумя семейными эпизодами удалые конники Буденного гнали ”генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море”.

Не на жизнь — на смерть бились меж собой русские люди. ”И эх, — возопияла душа красного генерала Павличенки, Матвея Родионыча, — любя ж ты моя, восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок...”

Зря, без основания, сокрушался красный генерал Павличенко. И сам он, и однополчане его, и братья, и сыновья имели случай погулять еще да не разок, с кровиночкой своею, восемнадцатым годком. И миллионы людей полегли в этой гульбе, особенно в кровавые 30-е, от Гуляй-Поля до Соловков, от Соловков до Колымы. И все не для себя лично и не по своей прихоти али злой воле, а по письму от самого Ленина. Вот оно, это письмо от Ленина, как читал его вслух безграмотный красный генерал Павличенко: ”Именем народа и для основания будущей светлой жизни приказываю Павличенке, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению...”

Да лишить человека жизни — это еще только полдела. А другая половина, да поважнее первой, — это способ, каким следует из живого человека вымать душу. ”Стрельбой... от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где

она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...”

Тут бы впору какую-нибудь сценку из ”Крутого маршрута” Евгении Гинзбург или из ”Колымских рассказов” Шаламова, или из того же Солженицына, по которому Гулаг — это уже и не аббревиатура вовсе, а имя, сродни библейскому извергу Гогу-Магогу, какого-нибудь Хаима, какого-нибудь нового Мойши: Мойша Гулаг. А что такое Гулаг, это, почитай, каждому русскому человеку ведомо — не по себе, так по родичам своим, не по родичам, так по друзьям.

Да вернемся к Тимофею, Федору и Семену Курдюковым, вернемся к командарму Буденному, вернемся к красному генералу Павличенке и зададимся вопросом: а были ли они истинно русские люди, а типичен ли был треугольник, ”на котором зиждется наш обычай: рубить — тачанка — кровь...”? (”Учение о тачанке”).

Сам командарм Буденный в знаменитой реплике своей ”Бабизм Бабеля из ”Красной нови” — ему бы, рубяке, шашкой, шашкой писаку того, а не галантерею разводить! — перед всем честным людом бросил в лицо пасквильянту: ”Он смотрит на мир, как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы” (”Октябрь”, 1924, № 3).

Однако завязалась перепалка, и другие, не менее чистых кровей православные люди, чем донской казак Буденный, и не менее, нежели он, легендарные — писатель Максим Горький и командарм Клим Ворошилов — выступили не только адвокатами, но и апологетами ”пасквильянта”, который в этом случае предстал пред миром уже не как хулигатель, не как пасквильянт, а как исполинский художник, который превзошел самого Гоголя с его запорожцами.

А был он, этот художник, как мы уже знаем, еврей, наре-

ченный именем праотца нашего Исаака, а по фамилии Бабель, что в переводе на русский означает "Божьи врата". Одно время он так и подписывался, как будто родовое его имя состоит из двух слов: Баб-Эль. И смотрел он на мир, этот талмудист, внук раввина, как может смотреть лишь еврей, для которого не только живые, но и покойные евреи — это кусок его души, и душа его рыдает, душа его исходит в экстазе на еврейском кладбище среди раввинских склепов и камней, на которых начертано языком Торы:

"Азриил, сын Анания, уста Еговы.

Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением.

Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне.

Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.

О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?"

Он, этот еврей, который прибыл в конармию Буденного с документами на имя несуществующего К.Лютова, разумеется, гоя, и выступал в своих рассказах под личиной кандидата прав Петербургского университета, на каждом шагу выдает свое еврейство, хотя местами словарь его таков, как будто родился и всю жизнь свою провел он в Рязанской губернии.

Однако кирпичи — это еще не здание, и словарь — это еще не язык, тем более не мышление человека, не стиль его видения мира.

"Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел", — так начинается новелла "Путь в Броды". Потом идет рассказ об Иисусе Христе и пчеле, которая не пожелала, хотя всякая другая мошकारа звала ее, бить его, распятого, потому что "он плотницкого классу..." Потом казаки пели песню, как в день усекновения главы

упившийся подьесаул после четвертого штофа сел на своего коня и стал править в небо. Подъем был долог. А когда приехали на небо, подьесаул хватился последнего, пятого, штофа. Оказалось, забыли его на земле. Тогда подьесаул заплакал о тщете своих усилий, а конь глядел на своего хозяина и прядал ушами. Потом вдруг хлопнул выстрел, пули нитями протянулись по дороге, на пригорок въезжала батарея поляков. Красные бежали, ощущался уже "смертельный холод глазниц, налитых стывувшей слезой". И вдруг, тяжелая, как свинцовая печать на королевских документах средневековья, последняя фраза рассказчика: "И вот – трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог..." "Твои синагоги" – это синагоги еврейского местечка Броды.

И точно так же, хотя ни единым словом не были помянуты до того евреи, а весь разговор шел о тачанке, о новой стратегии гражданской войны, которую родила тачанка, о казачьих армиях Буденного и батьки Махно, внезапно, в последнем абзаце новеллы "Учение о тачанке" – абзац, говорил Паустовскому Бабель, как вспышка молнии, открывает знакомое нам зрелище в совершенно неожиданном виде, – возникает присевшая "к нишей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа". И вслед за этим в том же эпическом ключе, в котором повествовалась история тачанки, грозного, во многом определившего поступь истории оружия гражданской войны, идет сказ о галицийских и волынских евреях, чья сила скорби "полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично". И глядя на них, человек, который сам происходил от южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино, "понял жгучую историю этой окраины, повествование о талмудистах, державших на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщицеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры и из-за которых стрелялись польские магнаты".

Красные не убивали красных, белые — белых, поляки — поляков. Но все — и красные, и белые, и поляки — убивали евреев. Бабель говорил: "Я не выбирал себе национальности. Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все" (К.Паустовский, "Время больших ожиданий").

И он действительно понимал все: за плечами его было четыре тысячи лет дорог предков и праотцов наших, у него было чувство древности, жалованной не их величествами и их высочествами, жалованное самой Историей. А чувство древности — это чувство вечности: "Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было..." (Козлет — Екклесиаст, 3:15).

Какой смысл кричать о боли своей, о страданиях? Тора не кричит, Тора говорит обо всем одним голосом, ибо пред лицом Его нет ни малого, ни большого, пред лицом Его — все едино. В Новоград-Волынске поляки резали старого еврея, "и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру". Но поляки не вняли молитвам еврея, и вот он лежит, мертвый, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца. Ну так что же, надо кричать об этом? Дочь его, беременная еврейка, которая хочет "знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой", пусть кричит: это ее дело. Но ему, рассказчику, чей дух настоян на Хумаше, кричать не пристало.

Виктор Шкловский — умница из умниц, который ради красного словца и мать родную не пожалеет, — сказал как-то про автора "Конармии": "он одним голосом говорит о звездах и о триппере". Не надо быть большим мудрецом, чтобы понять: когда о писателе сказано, что он одним голосом говорит о звездах и о триппере, — это не комплимент. Но даже не будучи мудрецом, можно понять и другое: как близоруки люди, которые за этим "одним голосом" не увидели, не услышали То-

го, кто первый заговорил этим голосом и заповедал его нам! Разве не одним голосом сказано: "Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга; Всякий скотоложник да будет предан смерти; Пришельца не обижай: вы... сами были пришельцами в земле Египетской; Не ложитесь с мужчиною, как с женщиною, это мерзость". Разве не о тех же звездах и триппере говорит здесь Священное Писание!

Еврей Бабель был первый в русской литературе, кому открылось и дано было заговорить е д и н ы м голосом о величайших актах истории и мгновенных, не видимых стороннему глазу уколах, от которых холодеет человеческое сердце, или, напротив, делается еще горячее. И получился поразительный результат: через то, что принято было считать второстепенным и даже третьестепенным, живая жизнь — в данном случае, кем и как делалась советская власть — открылась с невиданным у большинства других писателей размахом — и вдаль, и вширь, и вглубь. И кто всерьез, а не угождая своим племенным капризам, хочет понять русский Октябрь, тому не миновать "Конармии" — жестокой, беспощадной в своей объективности, подушной росписи гражданской войне, в которой, как в зерне, заложены были уже все побеги расцветшего позднее ядовитого дерева фанатизма, нетерпимости и вселенской экспансии.

"Почему, — спрашивал себя Бабель в дневнике, — у меня непреходящая тоска?" И отвечал: "Разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде". Но писатель Бабель неизмеримо высоко поднялся над автором дневниковых записей — так высоко, как велела ему вековая мудрость его племени, которая говорила устами рабби Моталэ Брацлавского, последнего рабби из Чернобыльской династии: "Шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздирает смехом завесу бытия..." ("Рабби").

Бабель раздирает смехом завесу бытия — типично еврейское занятие. Он хлопал в ладоши, когда его соседи танцевали; по совету реб Мордхэ, он пил вино, которого ему не давали; и не позволил себе ни единого ”ой!”, когда Кудря из пулеметной команды, спрятав у себя под мышкой голову старого еврея с серебряной бородой, правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись (”Берестечко”). И в жестоком бою, охваченный не страхом, но гибельным восторгом, он кричал Грищуку на тачанке: пропадаем, пропадаем, отец! А Грищук, нееврей, но селянский философ, выросший в окружении местечек, отвечал: ”Зачем бабы трудятся? зачем сватанья, венчанья, зачем кумы на свадьбах... Смеха мне, смеха мне, зачем бабы трудятся...”

Смешной старьевщик Гедали, основатель Четвертого Интернационала — Третий Интернационал основал Ленин — мечтает о сладкой революции, потому что революция, которая есть, а есть красный Октябрь, стреляет и контрреволюция тоже стреляет, — так в чем же разница? Он готов сказать революции ”да”, ”но разве субботе мы скажем ”нет”? Гедали кричит революции ”да”, но она прячется и высылает вперед только стрельбу.

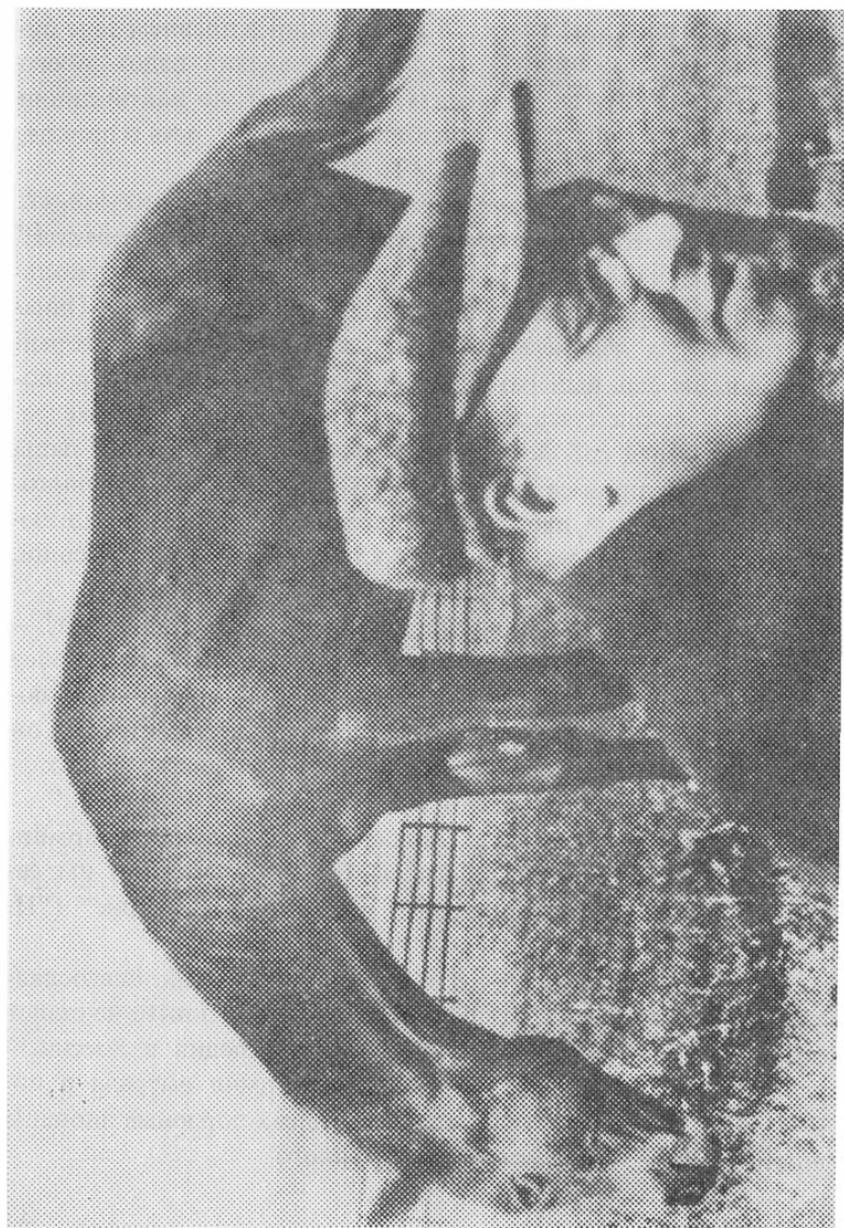
Мы привыкли к бабелевским рассказам и полагаем их естественными до такой степени, что перестали уже удивляться: а не чудо ли вообще эти рассказы, не чудо ли, что они — совершенно открытый манифест еврейства — вообще увидели свет! Когда умирает член партии красноармеец Брацлавский, последний сын рабби Моталэ, разве скорбит повествователь о смерти коммуниста Ильи Брацлавского? Нисколько! В горе своем он забывает уже о всякой осторожности, сбрасывает с себя обрыдлую маску кандидата прав Петербургского университета и изнутри его, из вековых недр, рвется наружу сокровенное: ”Он умер, последний принц, среди стихов, филлак-

терий и портянок... И я — едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата”. Тут нет нужды объяснять, что за брат, по какой линии брат: уже была однажды, ”Кладбище в Козине”, речь о принце, похищенном у той же матери — у Торы.

Во дни египетского похода Наполеон ободрял своих солдат: ”Солдаты, с высоты этих пирамид на вас смотрят сорок веков!” Казалось бы, какое дело французским солдатам до того, сколько веков смотрят на них с высоты египетских пирамид. Однако такова уж человеческая природа, и Наполеон, который тогда еще не был императором, но безусловно имел уже в своей голове мысли стать императором и, может быть, даже репетировал перед собой сцену, как он забирает из рук у папы Римского корону и сам сажает ее себе на голову, был великолепный психолог и прекрасно понимал, какую власть над людьми имеет древность. Ибо древность — это право на высший, Божий суд.

С высоты сорока веков судит — не осуждает, но судит! — красную Конармию, не менее, а очень может быть даже более великую, чем наполеоновская армия времен египетского похода, еврей Бабель. Слово его тем больше весит, что сам он был солдатом этой армии, про которого комиссар Блюх — позднее директор кинокартины ”Броненосец Потемкин” — рассказывал Шкловскому: ”Бабеля очень любили в армии. Он обладал спокойным бесстрашием, не замечаемым им самим. В Первой конной понимали, что такое бесстрашие” (”И. Бабель. Воспоминания современников”. М., 1972).

Как бы ни относились люди к Октябрю — одни, благославляя, другие, напротив, осыпая проклятиями, — никто не станет оспаривать того, что большевистская революция в России — узловый факт истории XX века. А Конармия сыграла в победе этой революции такую роль, что до сих пор юные пионеры поют на своих слетах о коннице Буденного.



И вот великое чутье истории, которое Бабель унаследовал от своих предков, привело его не куда-нибудь, а именно в Конармию. "О устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы", — так начинается рассказ "Вечер". А в последних его строках Галин, из газеты "Красный кавалерист", вещает с пророческой одержимостью большевистского пропагандиста: "Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу..."

Однако память человеческая коротка. Забвение не имеет власти только над летописцами. И сегодня, более полувека спустя, мы говорим: своей мировой славой Конармия обязана великому летописцу, выученику талмудистов Исааку Бабелю, подобного которому знали не многие армии в истории человечества.

Будни русской революции Бабель представил в библейском слове и библейских красках. Говоря о Библии, я имею в виду Ветхий Завет, который начинает свое повествование с сотворения мира. И даже будучи слепым, нельзя не увидеть сверкания мировых молний в "Конармии", и даже будучи глухим, нельзя не услышать вселенских раскатов грома, перемешанных с бешеным цокотом копыт красной кавалерии.

Повторяю, каждый может именовать это на свой лад — зарей новой эры, или пришествием антихриста, или вообще концом света — однако масштаб событий уже задан великим летописцем, и, кто доподлинно стремится постичь этот масштаб, должен мерить той же меркой, что мерил создатель "Конармии", а мерка эта — из первых пяти книг Священного Писания и комментариев к ним Раши, ибн Эзры, Рамбама.

Тора и Талмуд — плоть и кровь Бабеля. Кровь в библейском смысле, "потому что кровь есть душа" (Второзаконие, 12:23). Бабель был не единственный, кого дома понуждали в

детстве изучать священные книги, но, Бог мой, сколько евреев, в их числе больших поэтов и писателей, отшатнулось, обретя независимость, от отчего дома, не только от священных книг, но и вообще от своего племени!

Бабель не мог отшатнуться, Бабель не мог отречься от своего еврейства: еврейство было у него в крови. И когда советская Россия, сначала потихоньку-полегоньку, сначала со словом "родина" с маленькой буквы, а потом уже через специальный общесоюзный закон орфографии исключительно с большой — Родина — стала семимильными шагами двигаться к тому, что после войны с Гитлером окончательно вышло в национал-большевизм, под всеохватные знамена которого собиралось воинство по обе стороны от красного кордона, — глобальные масштабы явления вполне позволяют пренебречь некоторыми, больше известными здесь, на Западе, отклонениями — Бабелю-художнику фактически был подписан смертный приговор. И этот приговор стал приводиться в исполнение задолго до 15 мая 1939 года, 10.00 по московскому времени, когда Бабеля арестовали, задолго до 17 марта 1941 года, когда навеки перестало биться его сердце.

Процесс умирания Бабеля-художника был долгий и мучительный. Не надо быть патологоанатомом, чтобы признаки его обнаружить уже в 1930 году на страницах "Гапы Гужвы", главы из романа "Великая криница", опубликованной в 31-ом году, в самый канун беспримерного голода, устроенного ВКП(б) своему народу. Еще не утратила былой своей силы уникальная бабелевская техника — у кобылы "в глазах тряслось лошадиное безумие", "беснующаяся, режущая ночь набросилась" на Гапу Гужву, которая сама себя именует блядью, — но размашистые эти образы не к месту здесь: они были бы к месту там, в "Конармии", когда земля, что называется, горела под ногами, а здесь, в Великой Кринице, где "плясали на

свадьбах с платочками, опустив глаза и топчась на месте”, они воспринимаются как плод тяжелой писательской натуги. И не то причина, что события здесь уже не того масштаба — партия через уполномоченных реализует свой план поголовной коллективизации, — но то, что летописец конармии, который и людей, и дела их обозревал с библейских высот, здесь в каждой строке то и дело сбивается с тона и никак не может определить для самого себя, с какой же точки следует ему вести свой обзор. А не может по той простой причине, что в романе про коллективизацию, особенно в ”год великого перелома”, как поименовал его сам Хозяин, уж никак нельзя было писателю оставаться самим собою, нельзя было сберечь свой ”стиль видеть вещи”, тем более свой еврейский ”стиль видеть вещи”. И прямая фальшь лежит, как говорили одесские евреи, всеми своими четырьмя лапками на каждом слове Гапы в ее разговоре с уполномоченным по коллективизации Ивашко: ”Не брезговай нашим крестьянством... Ходи с нами каравай делить... все твой будем, представник, только завтра, не сегодня...” Заявка на беспременный, стопроцентный успех великой революции большевиков ”сверху”, которая, как говорил Хозяин, была равнозначна по своим последствиям революционному перевороту ”снизу” в октябре семнадцатого года, как видим, уже сделана чуть не в первых строках: ”все (не какое-то там меньшинство или даже большинство, а все! — А.Л.) — твой будем”.

Сознавал ли Бабель уже тогда трагизм своего положения? Безусловно признавал. В один из своих наездов в Париж, в тридцать втором году, он обсуждал с Юрием Анненковым вариант ”невозвращенца”. Однако при всем своем знании французского языка — напомним, первые свои рассказы, мальчишкой пятнадцати лет, Бабель написал по-французски — он не мог не задаться элементарным вопросом: а где заработать на ку-

сок хлеба? На кусок хлеба, как он представлял себе, можно заработать за баранкой, таксистом. Имеются сведения, что он сдавал и экзамен на шоферские права. Но, Боже мой, это перспектива для Бабеля — крутить, пусть даже в обожаемой Франции, в самом Париже, баранку, чтобы иметь на кусок хлеба?!

Что пользы гадать сегодня, было бы ли для Бабеля лучше остаться тогда во Франции. "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать". Однако мы, не обладающие мудростью Екклесиаста, готовы помахать после драки кулаками. Хотя всего-то махания будет, что помянуть судьбу бесподобного Замятина, который пять лет метался как угорелый по улицам Парижа, строчил какие-то сценарии и на вопрос Ремизова — встретились на базаре, Ремизов шел за картошкой — "Когда же заговорите своим голосом?" Замятин, превозмогая одышку от грудной жабы, с улыбкой, как рассказывают, ответил: "Будет". А "будет" это обернулось мартовским волглым утром тридцать седьмого года, парижской улицей Раффэ, да крутой лестницей, такой узкой, что гроб пришлось спускать в вертикальном положении.

Ну, к этому можно помянуть еще Нобелевского лауреата Ивана Бунина, положенного во гроб в штопанном, с заплатами, костюме.

Можно помянуть еще Бориса Поплавского, поэта, художника, покончившего самоубийством, — соседа Евгения Замятина по кладбищу в Тие.

Можно... Да нет, хватит и того: эмиграция есть эмиграция, и никому, ни в какие времена не давалось это легко — быть пришельцем в чужой стране.

Бабель не захотел быть пришельцем в чужой стране. Бабель, уроженец Ханаана, как именовал тысячу лет назад теперешние земли по Днестру, Бугу и Днепру великий Саадиягаон, предпочел остаться дома: "...мы — из России — тоскуем

по ветру больших мыслей и больших страстей”.

Однако идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. И вот мы опять задаемся вопросом: а была ли Россия домом?

Когда девятилетнего сына его приняли в гимназию, еврейский маклер Эммануил Бабель устроил на радостях вечер. На этом вечере пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов. Пели долго, со множеством смешных интонаций. “Прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать пасху у хасидов или кто бывал на Волыни в их шумных синагогах”. Но это еще не все. Слушайте дальше: мосье Либерман, который учил новоиспеченного гимназиста Торе и древнееврейскому языку, произнес тост — надо ли объяснять, какой язык мосье Либерман, учитель Торы, выбрал для своего тоста! — поздравил, как водится у евреев, первым делом родителей и сказал про их сына, что он победил на экзамене всех врагов своих, победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа, и подобно тому, как сын их “восторжествовал над Голиафом, так народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови”. Как мы уже знаем, слова о врагах, “окруживших нас и ждущих нашей крови”, оказались в тот вечер пророческими: спустя недолго время разразилась революция пятого года, а вместе с нею кровавые еврейские погромы.

Итак, спрашиваем мы опять: была Россия еврею Бабелю домом? Да, отвечаем мы, была: где десять евреев, там синагога, где синагога, там еврейское местечко. Одесса вмещала в себя сотни местечек, Одесса была родным домом. Одесса была в России. Так же, как были в России Галиция и Волынь со своими хасидами. Отсюда, из этой страны, европейские евреи по-

лучили новое имя, ашкенази, отсюда начали свои исступленные танцы, разогнавшись на все пять континентов, хасиды — да крепнет в веках их дух, да множатся они числом! — как же можем мы сказать, что Россия не была домом!

И — о безжалостная ирония истории! — когда грянул русский Октябрь, когда многим евреям, далеко не всем, но многим, стало казаться, что Россия еще больше делается для них родным домом, фактически — слепцы, где были ваши глаза! — был подписан смертный приговор синагоге, хасидам, еврейскому духу. Процессы тридцатых годов — сенатор Альберто Террачини был первым из лидеров международного коммунизма, кто публично признал это, — были антиеврейскими процессами. В марте тридцать седьмого, выступая на пленуме ЦК, Сталин назвал поименно шесть врагов народа: Пятаков и Лившиц, Шестов и Богуславский, Муралов и Дробнис. В каждой паре был один еврей, один не-еврей. Отныне ко всеобщему сведению — *urbi et orbi* — вся многонациональная страна Советов была поделена на две главные части: евреи и не-евреи.

Но, спрашиваем мы, разве началось это в тридцать седьмом году? Разве не разрывали на части Карла-Янкеля, которому только что миновал восьмой день, когда еврейским мальчикам делают обрезание, советская власть в лице его папы, кандидата в партию Овсея Белоцерковского, с одного, как говорили в местечках, боку, и его бабушка Брана Брутман, которой нужен был внук, чтоб она имела кому рассказать о Баал-Шеме — великом исцелителе рабби Исраэле Баал-Шем-Тове, положившем начало движению хасидут, с другого боку! Разве борьба за имя мальчика — Карл, в честь основателя коммунизма Карла Маркса, или Янкель, в честь праотца нашего Иакова — не была роковой схваткой! Разве случайно приехали галицийские цадики на процесс — Овсей Белоцерковский подал в суд на свою тещу Брану Брутман, которая нарекла вну-

ка Янкелем и сделала ему брис, — где собирались судить еврейскую религию!

Еврейский писатель из Одессы Нотэ Лурье, автор романа "Степь зовет", о колхозниках-евреях, закатывая глаза и воздевая руки к небу, причитал взхлеб: "О, если б вы знали, как евреи жили в конце двадцатых и еще в начале тридцатых годов! Я сам закончил агрономический факультет Одесского сельскохозяйственного института, где все лекции, от первого до последнего слова, читали на идиш. Теперь даже нельзя представить себе, что такое могло быть и какое это было удовольствие!"

Двадцатых годов я не знаю, но тридцатые годы, начиная с середины, я хорошо помню. Что же я помню? Помню, как закрывались одна за другой еврейские школы в Одессе, хотя пол-Одессы составляли евреи; помню, как соседки в нашем доме убеждали друг друга, не надо лишний раз говорить на улице по-еврейски, не надо дразнить гоим; помню, как качали головой и вздыхали наши одесские евреи, когда звезда еврейского театра Лия Бугова перешла в русский драматический театр имени Иванова. Помню, как еврейский дом культуры, на Троицкой, в одном квартале от Еврейской улицы, переименованной в улицу Бебеля, переделали в областной клуб аэрофлота и привезли туда биплан — тогдашний символ советского воздушного могущества. Помню... ах, что говорить: Нотэ Лурье после того, как вместе с Хананом Вайнерманом, Айзеком Губерманом и Ирмой Друкером, тоже писателями, вернулся после смерти Сталина с Колымы, чем дальше уходили годы, тем больше розовой краски добавлял в свои воспоминания о золотом времени для евреев, какое мы имели до войны.

Знал ли обо всем этом Бабель? Наивный вопрос: не только знал, но, что называется, ежеминутно, ежесекундно чув-

ствовал на собственной шкуре. Одесса не была исключением: что творилось в Одессе, творилось повсюду, "от Москвы до самых до окраин". В начале тридцатых годов Бабель совершил несколько поездок — на Украину и в Кабардино-Балкарию, к своему другу Беталу Калмыкову, одному из партийных хозяев тогдашнего Северного Кавказа. Что, как писатель, привез он из этих поездок? Практически ничего. Ни "Нефть", ни "Фроим Грач", ни "Ти де Мопассан", ни шедевры его "Ди Грассо" и "Улица Данте", написанные в те годы, никак не были связаны с этими его хождениями в народ, целью которых было опять, как объяснял сам Бабель, быть ближе к жизни.

В тридцать седьмом году в своем интервью журналу "Литературная учеба", которое было опубликовано лишь двадцать семь лет спустя в московском журнале "Наш современник", Бабель доверительно сообщал, что теперь, после всех своих путешествий, он находит, что писать стало ему значительно легче. Это было сообщение вполне в духе времени, ибо писатели целиком подходили под введенное Хозяином в повседневный обиход для слуг народа сравнение с древнегреческим героем Антеем, который черпал свою силу в контактах со своей матерью-землей, богиней Геей. Что на ролях эллинской богини в данном случае выступал советский народ, строитель коммунизма, пояснять нет нужды.

Но самое поразительное в этом многостраничном интервью, которое по размерам своим превосходит любую из новелл "Конармии" или "Одесских рассказов", то, что Бабель ни разу не употребил здесь ни слова "еврей", ни производных от него слов. И это писатель, который совсем еще недавно, в двадцатые годы, писал в "Блуждающих звездах", рассказе для кино: "Рахиль Монко приехала из местечка Деражни... Лицо у Рахили точно такое же, какое было у Руфи, жены Вооза, у Вирсавии, наложницы Давида, царя Израильского, или у Эс-

фири, жены Артаксеркса”. Рахиль приехала в Москву за наукой, и ”любовь ее к науке была так же велика, как любовь к истине у Ленина, у Дарвина или у Спинозы”. По тем временам вполне можно было ограничиться первыми двумя гигантами мысли — Лениным и Дарвином, — однако бабелевский метафорический ряд, чтобы оставаться органичным, естественным, требовал еще одной фигуры, еврея. Спиноза, как Маймонида у красноармейца Ильи Брацлавского, последнего сына рабби Моталэ Брацлавского, у которого в красноармейском его сундучке лежали рядом портреты Ленина и Маймонида, был для царственной бабелевской Рахили этим евреем.

Интервью тридцать седьмого года — образец великой изворотливости Бабеля. Образец вековой изворотливости еврея, которого, как повторяла десять раз на день моя покойная мама, и бьют, и плакать не дают. Еврею мучительно, до коллик в животе, в сердце, хочется сказать правду, но сказать правду — это самому, собственными руками положить свою голову на плаху. Кому охота умирать! Но, с другой стороны, разве не заповедал нам через Моше Всевышний: Не лги! И Бабель с изощренностью каббалиста рассуждает обо всем на свете — о коллективизации, о гражданской войне, о больших писателях, о писателях поменьше, о новелле, которую Гете определил как рассказ о необычном происшествии, о длинной и короткой фразе — и при этом неизменно дает понять: но это не главное, главного я сказать не могу. И я хочу, люди, чтобы вы знали: главного я сказать не могу.

Это главное, вся правда о советской власти — в одной фразе старого Фроима Грача, которую тот сказал Владиславу Симену, председателю ЧК, присланному в Одессу из Москвы: ”Хозяин, кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?”

Из этого рассказа, ”Фроим Грач”, мы узнаем, что одногла-

зый Фроим, а не Беня Крик, по кличке "Король", "был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика (обратите внимание на масштабы! — А.Л.) — разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападение на добровольцев и союзные войска".

Устами одесского еврея, бандита, налетчика и мудреца Бабель разделил всю человеческую массу, доставшуюся Советам в наследство от старой России, на "орлов и смитье". Орлов перебила ЧК, осталось смитье — какие тут еще комментарии нужны!

"Одесские рассказы" и "Закат", во львиной доле своей, — это страстная мечта о сильных евреях, о евреях со своей аристократией и своим королем. Борьба за новую силу, за свежую кровь идет в среде самих евреев. "Выми мне зубы, Нехама, — стонет Мендель, отец Бенчика, — налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину... Согни мне спину, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы" ("Закат"). Силач и буян Мендель Крик, который среди одесских биндюжников слыл грубияном, был избит до полусмерти своими собственными сыновьями, молдаванскими бандитами Беней и Левкой. Но, ради Бога, не подумайте, что Бенчик и Левка, которые заступились за честь своей матери Нехамы, потому что отец их хотел уйти к русской женщине, в самом деле заинтересованы, чтобы в жилах отца текла не кровь, а "жидовский суп". Но закон есть закон, и в данном случае — это закон, на котором спокон веку стоит еврейская семья.

Бабель хорошо знал еврейскую историю. Бабель не заблуждался: он хорошо знал не только еврейскую историю, но и самих евреев. Как знал их и Генрих Гейне, сначала отрекшийся от своего племени, а на склоне лет вернувшийся к нему опять: "Хороший еврей лучше христианина, плохой — хуже".

Мне рассказывал один старый одессит, приятель моего



отца, Борис Давидович Левенштейн: ”Бабель вспоминал случай, как евреи разделались со своим вторым Моисеем — Моше бен Маймоном, Маймонидом, который был домашним врачом у султана Саладина. Когда Маймонид выпустил свою ”Мишне Тора”, многим тогдашним ребе это не понравилось. Но кто не знает: легче драться сдохлым львом, чем с живой собакой. И когда лев испустил дух, ребе дружной стаей накинулись на него. Но даже мертвый он рвал и кусал так, что летели клочья. Тогда ребе призвали на помощь доминиканских монахов, и те сделали что надо: собрали книги Маймонида и сожгли их. Что оставалось делать евреям? Евреям оставалось рвать на себе волосы — по этой части мы большие мастера”.

Но тут же, после этого случая, Бабель вспоминал другой случай: как евреи Йорка, в Англии тогда правил Ричард Львиное Сердце, спрятались от погромщиков в замке, а когда стало ясно, что погромщики все равно возьмут верх, мужчины, по призыву раввина, сначала убили своих жен и детей, а потом убили друг друга.

Бабель говорил: ”Мы народ жестоковыйный”. Столетиями и тысячелетиями эта жестоковыйность выходила евреям боком. Они привыкли жаловаться, что их посадили в гетто. Но, по чести говоря, разве кто-то извне сажал во все века евреев в гетто, разве сами евреи не были заинтересованы в том, чтоб отделиться от других, чтобы не смешиваться, чтобы сохранить свое еврейство!

Даже одесские бандиты, которым в конечном счете было наплевать, кого грабить, своих ли, евреев, или гоим, — кстати, все денежные и имущественные гешефты у короля налетчиков Бенциона Крика были именно с еврейскими толстосумами — в критические моменты жизни обязательно вспоминали, что они евреи. И когда настало время хоронить несчастного Иосифа Мугинштейна, сына несчастной тети Песи, куриной торговли с

Привоза, убитого пьяным баламутом Савкой Буцисом, Беня Крик, ставший как раз с того дня Королем, обращается с покаянной речью к тете Песе, которая была до того часа, как убили ее сына, никто и ничто: "...если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка... Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду?... Ошибаются все, даже Бог".

Чтобы восстановить справедливость, Беня назначает тете Песе пожизненную пенсию из кассы богача Тартаковского, известного под кличкой "Полтора жида", устраивает несчастному Иосифу Мугинштейну, которому такое при жизни и не снилось, похороны по первому разряду – шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, – однако грош цена всем этим почестям и всем этим благам в сравнении с главным. А главное – это жизнь, которую отнять у человека может всякий, а дать может только Бог. "Око за око, зуб за зуб" – и Бенцион Крик, восстанавливая попорченную справедливость, как ее понимали праотцы наши, приговаривает Савку Буциса к смерти и собственноручно приводит приговор в исполнение. С этого дня, как было уже сказано, Беня Крик становится Королем, и первый, кто нарек его именем Короля, был кладбищенский нищий Мойсейка. Блаженный Мойсейка.

Такова была бабелевская мечта об истинных евреях – исполинах духа, воли и действия. Такова была бабелевская мечта о независимости, о суверенитете евреев, которым, как и тридцать столетий назад в Эрец Исраэль, надлежит иметь и свою аристократию, и своих королей.

Во исполнение этой мечты двух главных своих героев, двух своих кумиров Беню Крика и Фроима Грача, – которые все свои материальные проблемы решали в собственной,

еврейской, среде, — Бабель дважды сталкивается с державными властями России: один раз до революции — с царской полицией, другой раз после революции — с большевистской ЧК.

”...Пристав собрал участок и сказал им речь. ”Мы должны задушить Беню Крика, — сказал он, — потому что там, где есть государь император, там нет короля”. Чем это кончилось, все знают: полицейский участок исправно пылал с четырех сторон, а Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному и сказал сочувственно: ”Доброго здоровичка, ваше благородие. Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...” А пристав — та самая метла, что чисто метет, — стоял без движения.

Однако царская полиция — это одно, а большевистская ЧК — это другое. И Фроим Грач, как было сказано, истинный глава сорока тысяч одесских воров, бандитов и налетчиков, по планам которого вершились все мокрые дела в Одессе — разгром фабрик и казначейства, нападение на добровольцев и союзные войска, — нашел свой последний приют во дворе ЧК, с десятью зарядами в груди, под брезентом. И присланный из Москвы председатель ЧК Владислав Симен, хотя скинули уже в России царя, извели полицию, произносит по этому случаю слова, которые как две капли воды похожи на слова царского пристава: ”...только мы — власть, мы — государственная власть, это надо помнить...”

Точно так же, как одноглазый Грач, кончил в кинофильме ”Беня Крик” и Король. И в этом случае Бабель сохранил полную верность жизненной правде: Бабелевский Бенцион Крик произошел от легендарного Мишки-Япончика, знаменитого на всю Россию одесского бандита. А Мишка-Япончик — это был одесский еврей Моисей Винницкий, король гангстеров, который имел довольно четкую социальную программу: бедные — это бедные, богатые — это богатые. Моисей Винницкий ”экспро-

приировав” только богатых и от своих плодов нередко уделял толику бедным. Когда пришли в Одессу красные, Моисей Винницкий взял их сторону с условием, что его отряду будет предоставлена независимость. Красные приняли это условие. Однако ”недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал”: заманутый на полустанок, по дороге из Одессы на Березовку, некогда неуловимый главарь шайки, а теперь командир отряда, примкнувшего к Красной Армии, Моисей Винницкий был схвачен и расстрелян.

Это надо помнить: ”только мы — власть, мы — государственная власть”!

Примечательная деталь: что мог позволить себе — наверняка, не без ”помощи” партийных товарищей! — Бабель в киносценарии, не мог позволить он себе в прозе. И рассказа о трагическом — и бесславном! — конце Бени Крика Бабель не написал: так и остался в памяти людей Бенья Крик Королем, рыцарская длань которого была столь же тверда, сколь отважна и великодушна.

У Бабеля были довольно тесные отношения с кино: Дмитрий Фурманов просил его экранизировать ”Чапаева”; совместно с Юлией Солнцевой он работал над экранизацией романа Николая Островского ”Как закалялась сталь”; в апреле тридцать девятого года, когда оставались уже считанные дни до ареста, он написал сценарий ”Старая площадь”. Старая площадь — это адрес московского ЦК партии.

Нет никакого сомнения: работой для кино Бабель заполнял вакуум в прозе, который с годами все увеличивался, и добывал немножечко денег на жизнь. В Одессе, на киностудии, мои друзья-режиссеры устроили мне просмотр ”Бени Крика”. В главных ролях, Бени и Менделя, выступали блестящие актеры — Шумский и Ляров. Но, как говорит один бабелевский герой, если я вам скажу, что это было малоинтересно, можете

поверить мне без честного слова. Конечно, на вкус и на цвет товарищей нет, среди тех, кто смотрел в этот день "Беню Крика", были такие, которые говорили, что только черная неблагодарность и черная зависть могут удержать человека от восторга. Увы, они были неправы. И вот почему они были неправы: "Беня Крик" — это фильм об удачливом одесском жулике и бандите, который, в конце концов, плохо кончил, но Королем там и не пахнет. А не пахнет по той простой причине, что в фильме, где есть какие-то аксессуары еврейского быта, начисто истреблено главное — еврейский дух. Не только дух, но и сама еврейская душа.

И тут мы вновь возвращаемся к главному: уже в двадцатые годы, то есть на заре советской власти, так или эдак Бабель вынужден был отказываться от своего, то есть еврейского, "стиля видеть вещи". Мудрец, он рожден был раздирать завесу бытия смехом, не вульгарным смехом простолюдина, а проникновенным, часто неслышимым, невидимым, исполненным печали смехом сына Давидова. Однако мудрость партии, мудрость Мудреца Мудрецов всех народов и времен замкнула уста и Торе, и Талмуду, и пророкам, и люди были обречены говорить чужими голосами и с чужого голоса.

В 1930 году Бабель публично заявил: "Мне жаль, что С.М. Буденный не догадался обратиться ко мне в свое время за союзом против моей "Конармии", ибо "Конармия" мне не нравится". Боже мой, что может быть трагичнее — и низменнее! — чем отречение творца от своего творения, более того, отречение человека от самого себя! А год спустя, в декабре тридцать первого, он писал В.Полонскому: "...Жалко прожитых годов (внутреннего моего настроения), не хочется оставить их без следа, вот хвосты и тянутся". И появляются на свет еще два рассказа, замыкающих "Конармию": "Аргамак" и "Поцелуй".

Вот так, то надевая маску, то на короткие мгновения сбра-

сывая ее, жил до рокового майского дня, до дня своего ареста создатель гениальной, беспримерной в мировой литературе "Конармии" и удивительных рассказов о еврейской гордости, о силе, о мудрости и великодушии царственных евреев, живших рядом бок о бок с нами, почти в одно с нами время.

"Теперь вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?.." — спрашивал старый Арье-Лейб, сидя на кладбищенской стене, за которой расстилалось зеленое спокойствие могил.

Впрочем, остановимся на минуточку и подумаем: чей же это был все-таки вопрос — старого Арье-Лейба или его собеседника, от которого мы и узнали все эти истории?

Незадолго до моего отъезда, в Москве, на старой своей квартире на улице Фурманова Лев Славин сказал: "Люди, которым можно верить, своими глазами видели и читали заявление Бабеля на имя НКВД: "Прошу считать ложными все имена, которые я называл и относительно которых я давал показания".

Я спросил у Славина: "Что вы имеете в виду: что Бабеля пытали и он дал под пытками ложные показания? Или вы имеете в виду другое: что Бабель кого-то оклеветал?"

Старик Славин, родившийся двумя годами позднее своего знаменитого земляка, смотрел на меня слезящимися, с красными веками, глазами и отвечал: "Я не знаю. Не знаю. Я повторил то, что мне рассказали". Потом добавил: "Бабель всю жизнь, с молодых лет, якшался с чекистами. Это все знают. И он сам говорил".

Увы, старая как мир история: на памяти великих молва вьет свои змеиные гнезда.

Я вспоминал слова Исаака Бабеля, внука раввина, сказанные устами дряхлого Меера Бесконечного: жизнь — смитье, свет — бордель, люди — аферисты. Вспоминал слова талмудиста Исаака Бабеля, сказанные устами древнего Арье-Лейба: человек недостойн материала, который пошел на него.



ПРОСТОТА НЕСЛЫХАННОЙ ЕРЕСИ

— ...а я вам говорю: никакого времени нет. Время — это фикция. Выдумка Эйнштейна. Сжимается, разжимается, стягивается, растягивается! Как оно может разжиматься или стягиваться, если его вообще нет!

— Валентин Петрович...

— Не перебивайте меня! Один Достоевский понимал правильно: никакого времени на свете нет, а есть просто цифры, отношение бытия к небытию. Но я сам пришел к этому, без Достоевского: времени нет, никакого времени не существует, просто нам нужны какие-то рамки, чтобы найти для себя место — вот здесь я начинаюсь, а здесь кончаюсь, — а на самом деле времени нет. Время — это выдумка Эйнштейна.

Я удивился: почему выдумка? По данным современной физики, Вселенная достаточно молода: всего 18-20 миллиардов лет.

— А до этого? — схватился Катаев. — Я вас спрашиваю: что было до этого?

— А до этого, — сказал я, — была Вечность. Кстати, Августин Блаженный в своей космогонической концепции держался того же взгляда: Вселенной, с ее субстанциями пространства и времени, предшествовала Вечность — некое состояние, которому чужды категории времени и пространства.

— Что вы мне морочите голову со своим Августином Блаженным! Я вам повторяю, никакого времени нет и не было. Порядок вещей зависит только от нас, от нашей памяти. Я могу переставить все события, как захочу. Я, старик, могу подсматривать за собой ребенком, я, маленький, могу подсматривать за собой стариком. Подождите, я знаю, вы мне скажете, это прошлое. Ну и что же, что прошлое? А что, прошлое — это фикция бытия? Значит, мы с вами минуту назад — это уже фикция?

– Почему фикция?

– Нет, – он весь подался вперед, по-стариковски сухой, угловатый, на волчьих его ушах, как определил их Бунин, вздыбились серые волосы, – вы отвечайте прямо: фикция или не фикция? Если фикция, тогда нам не о чем с вами говорить, если же вы понимаете, что это и есть само бытие, тогда ответьте мне на вопрос: о каком времени может идти речь, если я, даже не я, а моя память сама, по каким-то своим собственным законам, может переставлять все события прошлого! И прошлое от этого не теряет, наоборот, приобретает настоящий смысл.

У меня было странное ощущение игры в какую-то загадочную игру, на уме вращались всякие философские дефиниции – солипсизм, экзистенциализм, интуитивизм – в суждениях моего собеседника было намешано всего, как в лотке у корбейника, вдосталь, однако ясно было, что философия, как некая научная система, меньше всего заботит его: речь шла об очень важном, наверное, самом важном, не в общем, абстрактном смысле, а в конкретном, прагматическом, что для него, писателя, могло означать лишь одно – как писать, как изображать действительность, которая вся уже отошла в прошлое, а реставрация ее через художественное слово и претворение в часть настоящей, сегодняшней, жизни целиком зависит от него.

Я дал себе слово не входить в полемику, а постараться лишь как можно лучше понять его, большого мастера, который и в преклонные свои годы – ему было тогда семьдесят восемь, когда у других, если им посчастливилось дожить до этих лет, частенько отшибает память, – сохранил поразительную ясность мысли и незаурядный талант распорядителя волшебной лавки писателя.

– Вот, – сказал он, – я напишу вещь, я еще не знаю, как она будет называться, и там все это будет. Раньше, в ”Святом ко-

лодце” и ”Кубике”, я уже начал, но тогда я еще не был полностью свободный. Нет, цензура здесь ни при чем, цензура мне не мешает, она мешает только тем, кто ее боится, а я не боюсь, я пишу, как я хочу, как мне нравится, но, пока пишешь, иногда сам не замечаешь, что направляешь себя то туда, то сюда, а писатель не должен себя направлять: надо, чтобы писалось само. Это и есть ”мовизм”: никаких правил, никаких заданных форм, ничего, кроме образа, кроме слова, которые сами найдут свою форму.

Был обычный подмосковный, по-зимнему серый день, но в кабинете его с огромными, во всю стену, окнами, на втором этаже переделкинской дачи, которая в последние годы стала взамен квартиры в Лаврушенском переулке главным домом не только для него, но и для всех его домочадцев, было много света, за окном стояли недвижимые сосны, дымчато-голубые вверху, по контуру хвои, с толстыми бурыми стволами, сплошь голыми, в суках, которые гнили, видимо, уже не один десяток лет, да все цеплялись за ствол, отстаивая свое, чурочное, бытие от небытия, которое для всех — и человека, и всякой твари земной, и дерева — едино.

У меня возникло ощущение какой-то нутряной, трудно уловимой по первому, поверхностному, взгляду связи между его суждениями и этим пейзажем, чуждым мне, человеку юга, три главных компонента которого — солнце, море, степь — были когда-то и его стихиями, заполнявшими каждую страницу не только ”Паруса”, сделавшего его, тогда сорокалетнего, живым классиком советской литературы с соответствующим сертификатом от правительства — орденом Ленина, едва ли не первым, которого удостоился советский писатель, — но и ”Растратчиков”, и ”Время, вперед!”, и ”Квадратуры круга”, и превосходных рассказов, сплошь и рядом не связанных ни с Одессой, ни с югом вообще.

— Этот пейзаж, — сказал я, — эти ели, эти сосны, серое небо, пригорки, перелески, рощицы — они действительно стали вашими? Вы не тоскуете по югу? Детство, юность — все там. Экзюпери, наверное, прав: мы все вышли из страны своего детства.

— При чем здесь тоскую не тоскую! — воскликнул он. — Я недавно перечитывал "Белеет парус одинокий" и сам удивлялся себе: что особенного я находил в этих одесских берегах! Просто глина, обыкновенная желтая глина, голые берега, как во времена "Одиссеи". Вы знаете, как греки называли Черное море? Они называли его понт Аксинский — Негостеприимное море. Самый паршивый кусок французского берега в тыщу раз красивее. Мы возвращались с женой из Франции, я стоял на пароходе и не верил своим глазам: на всем Средиземном море вы не найдете такого унылого берега, как возле Одессы.

Я не видел средиземноморских берегов, возможно, он прав, но его горячая тирада против некогда милых ему берегов Одессы казалась мне чрезмерной. Было странное впечатление, что он воюет с каким-то давним, невидимым врагом, который беспрестанно тревожит его память, его чувство собственной значимости, его писательское самолюбие. Но кто, кто он — этот враг?

— Странно, — сказал я, — что вы так переменили свое отношение к Одессе. В конце концов...

— Чепуха, — перебил он меня, — ничего я не переменил, я никогда не выдумывал какую-то особенную Одессу. Просто тогда она казалась мне лучше, но даже тогда я не выдумывал Одессу, как Бабель со своим Беней Криком и Славин со своей "Интервенцией" и Филькой-анархистом. Где они взяли этих людей? Я лучше них всех знал Одессу. Одесса — это были попы с такими бородами, — он провел рукой вдоль пояса, — про-

фессора в черной паре, врачи в пенсне, которое вечно болталось у жилетного кармана. Они приходили к моему папе. А Бабель ничего этого не знал: он же вообще не одессит, он приехал из Николаева, где его папа держал лавку, а потом всю жизнь уверял всех, что родился в Одессе, на Молдаванке. Так и осталось: Бабель — одессит. А теперь еще этот старый врун Паустовский со своими дурацкими историями наворотил целую кучу, лишь бы интересно было читать.

Я любил Константина Георгиевича, я любил его книги, у него в доме, на Котельнической набережной, откуда хорошо были видны кремлевские башни с их рубиновыми звездами, — размахивая кулаком, Паустовский выкрикивал своим сиплым, астматическим голосом: ”У, как я ненавижу эти рубиновые звезды!” — мы много говорили о Бабеле, о Багрицком, о литературе юго-запада, об Одессе, которую он считал едва ли не родным своим городом, хотя, по его словам, он провел там в общей сложности не более одиннадцати месяцев, и теперь мне было не очень приятно слышать катаевскую филиппику против человека, которого уже не было среди нас, живых, и который, естественно, не мог уже постоять за себя. Но, с другой стороны, следует ли кривить душой в оценке своего ближнего, тем более писателя, лишь по той причине, что он уже обретается в иных мирах? В общем я превозмог себя, да к тому же в катаевских словах была и немалая толика правды: Паустовский действительно боготворил Бабеля, и, в конце концов, ему досталась за это неплохая роль — апостола и автора апокрифа, и апокриф этот, ”Время больших ожиданий”, книга четвертая, оказался самой читаемой частью из его ”Повести о жизни”.

Однако, как бы то ни было, не Паустовский создал Бабеля, и едва ли можно отрицать, что Бабель и сам кое-что сделал для собственной славы, и не только как автор гениальной, без

преувеличения, "Конармии", но и как первоклассный бытописатель Одессы. Не вызывает сомнения, что "Одесские рассказы" были в значительной мере программной вещью с сознательной идеализацией евреев, могучих духом, настолько могучих, что им, этим аристократам Молдаванки, не зазорно было обретаться лишь под дланью Короля, — помните, пристав собрал участок и сказал им речь. "Мы должны задушить Беню Крика, — сказал он, — потому что там, где есть государь император, там нет короля", — но при всей очевидности идеализации у любого читателя, и в первую очередь одессита, эти рассказы вызвали ощущение доподлинной правды.

— Валентин Петрович, — сказал я, — Бабель не выдумал какую-то особенную Одессу, просто бабелевская Одесса не приходила в дом к вашему папе. Но это была Одесса, это была хорошая половина Одаасы, а другая половина — я хотел добавить: тоже немало идеализированная, особенно по части революционности, в ключе официального партканона — была в вашем "Парусе". В конце концов, школа-то у вас одна: юго-запад.

— Какая школа! — воскликнул Катаев. — Какой юго-запад! Этот путаник Шкловский, для которого самое главное на свете ярлык, взял у Багрицкого название и прилепил, кому ему захотелось, а теперь все, как попугаи, повторяют за ним: юго-запад! А на самом деле, какой юго-запад: два рассказа у Бабеля, три стихотворения у Багрицкого! Я создал школу: мовизм. Да, это школа, она имеет свои принципы, у меня есть последователи, Вася Аксенов, например, а юго-запад — это выдумка Шкловского, потому что он теоретик, а теоретик — это не теоретик, если не придумает какую-нибудь школу.

— Хорошо, — сказал я, — допустим, Шкловский, как все теоретики от литературы, выдумщик, но откуда это — три стихотворения у Багрицкого, два рассказа у Бабеля! Верно, и

Багрицкий и Бабель оставили не очень много, но в конце двадцатых — начале тридцатых годов Бабель, бесспорно, был одним из самых известных советских писателей. По анкете о советской литературе, которую в 1930 году составил "Новый мир", в большинстве ответов зарубежных писателей на первом месте стояло имя Бабеля.

— Ну и что же, — он сплел свои пальцы, длинные, костлявые, цепкие пальцы мастера, и методично сек ими воздух, — я же не отрицаю, Бабель был писатель, я недавно перечитывал его, он был даже больше писатель, чем я думал, но я повторяю: никакой школы юго-запада никогда не было. И Бабель не был никакой учитель, никакой мэтр, хотя любил всех поучать. И давайте закончим о Бабеле, мне это неинтересно.

Он сказал правду: ему действительно неинтересен был — я думаю, точнее было бы другое слово: неприятен — разговор о Бабеле, который все время оборачивался полемикой, причем не столько полемикой со сторонним оппонентом, в данном случае со мной, сколько с самим собою. Однако три года спустя в журнале "Новый мир" он продолжил этот разговор уже во всеуслышание своей, по сути, исповедью "Алмазный мой венец", той самой, которая тогда, в феврале семьдесят пятого года, во время нашей последней встречи, виделась ему еще как сырой кусок, который предстояло обработать и наречь именем.

В "Алмазном венце" он объявил Бабелю, точнее, его тени уже открытый бой, стремясь привлечь на свою сторону миллионы читателей, которым уготовил роль свидетелей публичного посрамления этого автора "флоберовски отточенной", а рядом в скобках: "я бы даже сказал, вылизанной", прозы, которого в те годы всякие шаржисты и пародисты изображали "в круглых очках местечкового интеллигента, но — заметь, читатель: но! — в буденновском шлеме с красной звездой и большой автоматической ручкой вместо винтовки". Местеч-

ковость появляется на авансцене и в другом фрагменте, после сообщения о том, что его, Катаева, и Олешу — последний фигурирует здесь под прозвищем "ключик" — Бабель как писателей не признавал, а признавал лишь одного "птицелова", то есть Багрицкого. Следующие слова, однако, настолько красочно живописуют тогдашние взаимоотношения писателей, что было бы просто кощунством дать их в переложении, а не первоходным текстом. Вот они, эти слова: "Впрочем, он не чуждался нашего общества и снисходил до того, что иногда читал нам свои рассказы о местных бандитах и налетчиках, полные юмора и написанные на том удивительном южноновороссийском, черноморском, местами даже местечковом жаргоне, который, собственно, и сделал его знаменитым". Далее следует историко-литературная параллель — бабелевская манера письма в чем-то сближалась с манерой "штабс-капитана", то есть Зошенко, — и приводится хлесткая эпиграмма: "Под пушек гром, под звоны сабель от Зошенко родился Бабель".

Разумеется, это право писателя — приводить всякие эпиграммы, равно как и представлять своих собратьев под кличками, а не под их именами (так сподручнее, ибо происходит известный психологический эффект отчуждения и высвобождения эмоций, которые в иных условиях загоняются в темные глубины подсознания), у читателя у самого непроизвольно возникают образы коробейника, гудошника, ассоциатора, связанные с автором "Алмазного венца", — однако в данном случае невозможно отделаться от впечатления, признаемся, довольно-таки неприятного, что грязная работа делается чужими руками, на этот раз каких-то мелкопакостных анонимов-ленинградцев, из той среды, которая давно определена весьма корректно и весьма презрительно словом "окололитературная".

Возвращаясь к праву художника писать как Бог на душу положит, не стесняясь никакими принципами, — а это и есть

собственно, главный принцип мовизма, который призывает к замене связи хронологической, то есть причинно-следственной, связью ассоциативной, — мы вправе были бы ожидать, что автор "Алмазного венца", распространяя на себя те же правила изображения, что и на своих ближних, вспомнит некие, теперь уже далекие времена, когда он в гимназическом своем отрочестве ополчался печатным словом вкупе с лихими легионерами из черной сотни на ту часть одесских обывателей-инородцев, которые обречены были то ли по причине недостаточного знания русского языка, то ли по природной своей ментальности на создание местечкового жаргона, того самого, коему Исаак Бабель, как уверяют нас, и обязан своей славой. Тут впору бы и задать вопрос: а как же насчет "флоберовски отточенной, вылизанной" прозы? Что, и она есть не более как эманация этой золотоносной жилы — "местечкового жаргона"? Неужели же потрясающий — и уникальный — по своей глубине и точности психологический анализ "Конармии", который вызвал буквально животный гнев красного палача-рубача Буденного, не был той главной пружиной, которая забросила Бабеля-писателя на много голов выше его самых даровитых современников и определила его подлинно мировую славу!

Тут следует оговориться: ссылка на черносотенные антраша юного Вали Катаева и нынешние реминисценции по поводу местечкового жаргона вовсе не означают намерения обвинить автора "Алмазного венца", кстати автора и замечательного "Отче наш", в каком-то юдофобстве. Более того, известно, что иные соотечественники его, особенно из числа литераторов, поныне твердят то шепотком, то в крик, что Катаев-де скрытый еврей, хотя и до "Кладбища в Скулянах", где из мертвых восстают все его предки генералы да попы, только злопыхатели могли заподозрить Катаевых в нечистых кровях, а

уж нынче надо и вовсе совесть потерять, чтобы нести подобную околесицу, пусть даже жена его, милая Эстер Давидовна, из иудеев, а дочь замужем за Ароном Вергелисом, редактором журнала "Советиш Гаймланд", обладателем типичной биографии государственного еврея.

Тем не менее, обращаясь к нашим беседам, я вновь натякаюсь на чувство, которое могло быть охарактеризовано таким, не очень выразительным, словом, как удивление, когда речь заходила об антисемитизме.

— Слушайте меня, — сплетя пальцы, Катаев захватил ими колено, круто подтянул к себе и, сведя спину в горб, весь подобрался, как для прыжка, — а я вам говорю, никакого антисемитизма до сорокового года не было, а все началось в сороковом году, когда этот бездарный, ну не бездарный, но он же тяжелый, как битюг, Леонид Леонов написал письмо Сталину про еврейское засилье в Союзе писателей. Покойный Иосиф Уткин сам читал это письмо и рассказывал мне. Весь антисемитизм начался с этого письма, а до этого ничего не было.

Я спросил: неужели он всерьез полагает, что Леонид Леонов подсказал Сталину целую политическую линию?

— При чем тут полагаю, не полагаю! Вам говорят, это факт, а не какие-то догадки. Иосиф Уткин сам читал это письмо, ему показал кто-то в ЦК. Вы же знаете, Сталину много не надо было.

Это верно, что Сталину много не надо было, чтобы решить судьбу нескольких тысяч писателей и интеллигентов, ему не надо было много, чтобы решить судьбы целых народов, но свести всю проблему евреев в СССР к письму писателя Леонова, о котором он к тому же знал только по слухам, было, по меньшей мере, странно.

Я сказал: стало быть, не будь письма Леонова, не было бы в СССР и антисемитизма? Не было бы, подтвердил он, в Рос-

сии не было бы, а на Украине да, был бы, потому что там всегда был антисемитизм и всегда будет. Но хохлы, добавил он, не любят не только евреев, они не любят нас, кацапов, тоже. Они всегда хотели иметь самостийну Украину и всегда будут хотеть.

— Нет, — тут же пояснил он, — не думайте, что я к ним что-то имею. У меня даже есть среди них друзья, Збанацкий, например, очень порядочный, интеллигентный человек, но в общем я хорошо помню их, особенно по Харькову, где я жил в 21-ом году. Надо было находиться тогда там, чтобы понять, что такое украинский национализм. Теперь многие думают, что власти в Москве допускали тогда всякие перегибы, а я вас уверяю: никаких перегибов не было, а была просто нормальная реакция на всякие местные выкрутасы. И вообще я плохо понимаю их: что, им плохо живется, они не полные хозяева у себя, на Украине? Даже здесь, в Кремле, они составляют, наверное, половину правительства.

Этот перескок его от евреев к украинцам, хотя и неожиданный, — однако вполне мотивированный по ассоциативной теории мовизма! — несколько не удивил меня, как не удивила и в сущности железно правоверная, партийная его позиция. В шестьдесят девятом году, когда в связи со 175-летием Одессы местные писатели Трусков, Лясковский, Усыченко, заручившись поддержкой тогдашнего секретаря обкома, члена ЦК партии Синицы, затеяли буквально средневековый шабаш, требуя сноса знаменитого памятника Ришелье у Потемкинской лестницы, взамен которого следовало установить памятник Суворову, и переименования улицы Дерибасовской в Суворовскую на том основании, что, дескать, знаменитый русский генерал — вопреки хрестоматийным фактами истории! — являлся истинным основателем Одессы (в скобках заметим, где он никогда не был), я обратился к Симонову, автору

поэмы о Суворове, военному корреспонденту в Одессе в 41-ом году, и Катаеву с просьбой поднять свой голос против новой волны мракобесной кампании по борьбе с космополитизмом. Симонов тотчас согласился с условием, однако, что я привлеку к этому видных ученых из института истории Академии наук СССР, а Катаев отказался наотрез. При этом он вспомнил, что в четырнадцатом году, когда началась война с кайзером, Малую Арнаутскую переименовали в Суворовскую, а затем, после Октябрьской революции, в угаре безоглядного отрицания своего прошлого, название упразднили.

— И вообще, — это были слова, сказанные, что называется, под занавес, — пусть лучше Суворов, чем кто-нибудь другой, считается основателем Одессы.

Признаюсь, я был потрясен. Мне и в голову не приходило, что столичный мастер, один из лучших прозаиков России, запросто, через душевные кульбиты свои в заповедных сферах отечественной истории, побратается с квасными патриотами из презренной провинции!

В феврале семьдесят пятого года он получил от правительства золотую звезду и был объявлен Гером соц.труда. В те же дни во дворце съездов происходило совещание творческих работников, на котором присутствовало высшее руководство партии. Вечером по телевидению показывали репортаж об этом совещании.

Мы сидели в гостиной, в переделкинском его доме, внезапно, когда на экране появились правительственные ложи, он заерзал в своем кресле, засуетился, протянул руку в сторону телевизора и закричал: "Смотрите, смотрите, вот Сулов, а сейчас, рядом, буду я!" Увы, телеоператоры сыграли, разумеется невольно, с ним злую шутку, — а впрочем, операторы ли: над ними есть еще редакторы, они-то знают, чего показывать! — кадр продержался еще несколько секунд на экране, подвигаясь

вправо, так что, казалось, еще мгновение, и явятся миру заветные миллиметры, однако все не являлись, и тогда он вскочил, подбежал к телевизору, приложил к ящику слева ладонь и сказал: "Вот здесь сидел я, а Суслов рядом, немножко правее, если смотреть отсюда".

То обстоятельство, что он сидел рядом с Суловым, естественно, не было случайным. В кремлевской табели о рангах, особенно, когда дело касается распределения мест в правительственной ложе, случайностей не бывает. Второй секретарь ЦК Сулов уже давно сделался его добрым гением, об этом на Москве шел упорный слух, и Лев Славин, который, ссылаясь на самого протеже, рассказывал об этом, уподобился тому вестнику, который, начав свой путь к падишаху юношей, прибежал к нему с бородой.

Надо отдать ему должное, он быстро оправился от конфуза, вызванного промашкой телевизионщиков, и тут же с удовольствием стал вспоминать буфет, в который он, как заседавший в правительственной ложе, получил доступ. Это был богатый буфет, мало сказать, это был роскошный буфет, в котором столы буквально чернели, буквально червонели от черной и красной икры, и с этими королевскими колерами могли соперничать лишь перламутровые инкрустации из нежнейших срезов белуги, осетрины, семги. И самое главное, все это было даром.

— Понимаете, — объяснял он со смаком, — вы заходите, берете все, что хотите, и ни копейки не платите. Конечно, это было только для нас, из правительственной ложи. А они, он повел рукой в сторону своего сына Павла, тоже писателя, члена СП, — имели с в о й буфет, неплохой, но они должны были платить.

Павел возмутился: что за пошлость, почему одни должны платить, а другим на даровщинку! Платить — так всем платить,

даром — так всем даром! Катаев-старший поморщился: перестань болтать.

Увы, он не был вполне последователен: недавно, вспоминая о своем покойном друге Олеше, он рассуждал немного по-другому.

— Это все — болтовня, что кто-то мучал его. Он сам себя мучал всю жизнь. Даже то, что он потерял во время войны свою квартиру в Москве, тоже его вина. Все эвакуированные писатели аккуратно присылали в жилотдел свою квартплату, а Олеша считал, что для него не обязательно. Квартплата — это же у нас гроши, пятнадцать-двадцать рублей на новые деньги. Но на бутылку водки он еще мог найти трешку, а на квартиру нет. Не надо выдумывать какую-то трагедию, не было никакой трагедии, была просто безалаберность. Когда писатель перестает писать, ему легче считать, что кто-то виноват, чем винить самого себя. Олеша имел то, что хотел, и я от него никогда не скрывал. Ему это не нравилось.

Примечательная деталь: это четкое и в высшей степени властное чувство иерархии, с безусловным признанием ее полной законности даже в житейских мелочах проступает чуть не во всех его последних вещах. И везде, не исключая и "Травы забвения", где он вроде бы лишь в чину учимых есть, а учителем Иван Бунин, некое странное коловращение неизменно приводит к одному и тому же результату: он, Катаев, обязательно оказывается мощным светилом, вокруг которого вершат свой путь все планеты, и хотя светят они по-разному, одни тускло, другие поярче, но в любом случае свет их не собственный, а отраженный. Даже история с золотой звездой героя оказалась, по его версии, из того же ряда. Дело в том, что, кроме него, золотые звезды по единому указу получили еще тринадцать других литераторов. Однако для них, тринадцати, это была лишь счастливая случайность, потому что героя прави-

тельство поначалу полагало дать одному ему, Катаеву, но потом почему-то застеснялось, и тогда Подгорный вписал в указ еще тринадцать, включая всяких там Симоновых, Полевых, Гамзатовых, которые в простоте своей и не ведали, кому обязаны этим неожиданно обрушившимся на них золотым дождем.

Золотая звезда, без сомнения, сказалась благотворно на его настроении и, пожалуй, даже на его характере. Он стал менее ершистым, менее язвительным и, главное, стал много тверже в своем чувстве верноподданничества. Приводя разные выкладки по части гонораров и тиражей, он доказывал, что никто в мире не платит так хорошо писателям, как наша советская власть. Я отвечал ему, что не знаю, как платят на Западе, но по докладу Сергея Наровчатова, который был тогда партийным секретарем московской писательской организации, средний заработок столичного поэта не достигает ста рублей в месяц. Ну и что же, возражал он, а во Франции или Америке они бы и этого не имели. И вообще для писателей и поэтов советская власть — золотая власть.

Я не стал уточнять, что именно имелось в виду под эпитетом "золотая", думаю все же, что речь шла, если не исключительно, то, по крайней мере, главным образом о гонорарной практике, а не о других, политических и духовных, аспектах.

Впрочем, по работам последних лет создавалось впечатление, что он не просто избегает политических и социальных проблем, вне которых немислим сегодня в СССР ни один большой писатель, но действительно утратил к ним интерес. В прежних своих вещах послевоенного времени — "Хуторок в степи", "За власть Советов" — он норовил окунуться в самую гущу социальной жизни и делал это не хуже, чем, скажем, автор какой-нибудь "Молодой гвардии" или романа о революционной Сибири в канун Октября. Однако его Я все решительнее и властнее захватывало во всех его писаниях центральное

место и подчиняло себе все повествование, хотя по-прежнему свой политический нюх он пестовал с величайшим тщанием: "Каждый день я читаю только "Правду", ее передовую, на остальное у меня нет времени, и мне неинтересно".

Логическим завершением этого процесса явился "Алмазный мой венец". Любопытная деталь: здесь, исключая вскользь упомянутых Славина и Тихонова,* не представлен ни один из ныне здравствующих писателей. Случайность, злокозненная игра воображения, подвластного лишь стихии ассоциативных связей? Едва ли. Ведь тот же, скажем, Солженицын не дает ему покоя, и в разговорах не раз и не два он возвращался к нему. "У него же плохой русский язык. И композиция рыхлая, все чуть держится. Вы думаете, на Западе не понимают? Прекрасно понимают: Солженицын – посредственный писатель. Но им нужна сенсация. Он вообще выехал на сенсации. Если бы там, наверху, в свое время его немножко пригрели, вообще не было бы никакого гения Солженицына. Но настоящие гении у нас есть. Жора Владимов. "Три минуты молчания" – это гениальная вещь". Гениальная вещь, на его взгляд, и "Тихий Дон". В связи с последними слухами о том, что Шолохов будто бы не автор "Тихого Дона", он сказал, что эти слухи шли еще в тридцатых годах, и он не знает, правда это или неправда, но что четвертую книгу наверняка написал Шолохов, никто не сомневается, а этого тоже достаточно. И Нобелевскую премию он-таки заслужил больше, чем те, которые получили до него и после него. До него и после него – это двое: Пастернак и Солженицын.

Про себя он некогда говорил: "Раньше я писал хорошо, потом плохо, теперь опять хорошо". Во время последней нашей встречи я вспомнил эти слова. Он тут же, с какой-то примесью

* Н.Тихонов скончался в 1979 г.

удивления и негодования, отрезал: "Я никогда этого не говорил. Я всегда писал хорошо".

И все же, при всем недюжинном самомнении, беспрестанно одолевает его потребность еще раз утвердить себя, еще раз взять реванш у тех, что давно уже обретаются в мире теней, но поскольку мовизм — тот же по сути давно открытый на Западе "поток сознания", только заметно обедненный и покореженный, — позволяет подменять связи причинно-следственные ассоциативными, он реставрирует прошлое, подобно тому, как это делается у Орвелла в его "1984", подобно тому, как делают это повседневно советская идеология и советская историография, и герои "Алмазного венца" — ключик (Олеша), щелкунчик (Мандельштам), конармеец (Бабель), королевич (Есенин), синеглазый (Булгаков), мулат (Пастернак) и прочая, и прочая, практически все, за исключением Командора (Маяковского), — вышли кривобокие, с тыквенными головами, с лисьими рожами, с этакой марионеточной походочкой ублюдков и недоносков, среди которых возвышается грандиозная фигура Патриарха в молодости, которого Бог одарил долгими годами, а "рука сильной и доброй власти", как окрестил ее Патриарх на девятом своем десятке, которая сама решила, сколько какому писателю-поэту жить годов, не скупясь, подавала ему от барских щедрот.

В одном месте, цитируя мулата, — поэта, кстати, по давнему его открытию, насквозь вторичного! — он делает признание, что боится власть в ересь неслыханной простоты.

А вот власть в простоту неслыханной ереси — этого не боялся.



ВЕРНОСТЬ И ОТСТУПНИЧЕСТВО ЭДУАРДА БАГРИЦКОГО

В графе "национальность" в свидетельстве о рождении сына, которому пришла пора идти в школу, Багрицкий написал: чех. Регистраторша, у которой были готовые бланки, где предусматривались наиболее вероятные варианты национальности — русский, украинец, еврей и т.д. — была удивлена: как чех? "Ну что же я могу поделаться! — невозмутимо отвечал Багрицкий. — Не могу же я писать, что сын итальянец, если он не итальянец, а чех".

Писатель Сергей Бондарин, одессит, друг Багрицкого, рассказав эту историю, заключает ее бодрой ремаркой: "Веселое вспоминать весело!"

Ну, юмор, как известно, бывает разный. И вот пример. Жил на свете Хаим. У него было три дочери: Сарра, Песя и Хая. Первой вышла замуж старшая, Сарра. Через год Сарра умерла, и муж ее, как водится у евреев, женился на средней сестре, Песе. Через год Песя умерла, и муж ее женился на младшей — на Хая. Молодые жили счастливо, но прошел год... Короче, прошел год, и зять ударил тестю телеграмму: "Дорогой папаша, вы будете смеяться, но Хая тоже умерла".

Поэт Багрицкий по собственной воле оборвал на себе вековую свою еврейскую линию — тоже своего рода смерть. И нашлись друзья, которым это было забавно и смешно. На естественное недоумение регистраторши, которая видела перед собою гражданина вполне иудейской наружности и резонно полагала, что и сын его также должен принадлежать к иудеям, поэт ответил в ключе балаганного фигляра: не может же он писать, что сын итальянец, коли тот на самом деле чех!

Да почему, собственно, вообще зашел разговор об итальянцах — такой веселый, что Сергею Бондарину даже тридцать

лет спустя весело вспоминать об этом! — коли ни сам Багрицкий, сын Годеля Мошкова Дзюбина и Иды Абрамовны Шапиро, ни его жена Лидия Густавовна Суок не состояли ни в каком родстве с итальянцами! Правда, Лидия Суок не была еврейкой, но в Советском Союзе в те годы, когда Октябрь только разменял свой второй десяток, принято было определять национальность детей по отцу. Однако Эдуард Багрицкий не только не пожелал следовать этому утвердившемуся обычаю, но даже, хотя дело происходило в стенах ЗАГСа, не вспомнил о своем еврействе. Точнее, не вспомнил об этом вслух, а про себя наверняка вспомнил, иначе бы не получился разговор с регистраторшей — шутовской разговор о ком угодно, только не о евреях.

Что же двигало в этом — повторяем, весьма необычном для того времени — отречении поэта в сыне своем от своего народа? Каприз художника, не подчиненный логике? Интернационализм, весьма модный в первые годы революции? Или тонкий расчет провидца, который смотрел далеко вперед, предвосхищая времена оголтелого антисемитизма в стране Советов и как высший апофеоз его сталинский план массовой депортации евреев на погибель в Сибирь?

Ни то, ни другое, ни третье. А что касается третьего, так дело обстояло даже совсем наоборот: поэт с великим уважением, как рассказывают его друзья, и сам посматривал, и другим показывал свою правую руку, которую однажды, на какой-то встрече, Сталину случилось пожать.

Что же? — спрашиваем мы опять. Может, двигал им стыд — чувство, весьма знакомое многим евреям, которые готовы были отдать все, лишь бы числиться за другим, безразлично каким, только бы не постылым жидовским племенем?

Нет, и это — нет. Багрицкий никогда не скрывал своего еврейства: он говорил о нем в своих стихах, он вспоминал о

нем в разговорах с друзьями, он рассказывал об этом юным читателям всесоюзного журнала "Пионер". Рассказывал, но всегда с неким акцентом, который в годы безоглядного отречения советских людей от своего прошлого звучал весьма революционно, ибо революция и есть не что иное, как отречение народа от своего прошлого — мы весь, мы старый мир разрушим до основанья!.. — а позднее, вплоть до наших дней, набивал оскомину не только у евреев, но и у такого патентованного юдофоба, как советский поэт, тамбур-мажор "Комсомольской правды", Станислав Куняев. Это он, ревнитель посконной, сермяжной Руси, бросил без малого полвека спустя после смерти Багрицкого тяжкий камень на его могилу: "Со страшной последовательностью он отрекся от родной ему по происхождению еврейской местечковости, страхнул "от своих ног" весь земной прах и произнес по его адресу такие проклятья, до которых, пожалуй, никакой черносотенец не додумался..." Ну, насчет черносотенцев национал-большевистский трубадур Куняев явно взял через край, однако насчет отречения Багрицкого и проклятий в адрес собственного племени он, как говорится, имеет свой резон.

Мы говорим "свой" потому, что другой писатель, тоже советский, Исаак Бабель, который был таким евреем, что дай Бог каждому таким быть, говорил про Багрицкого немножко по-другому. Вот как он говорил: "Слава Франсуа Виллона из Одессы внушала к нему любовь, она не внушала доверия. И вот — охотничьи его рассказы стали пророчеством, ребячливость — мудростью, потому что он был мудрый человек, соединивший в себе комсомольца с бен-Акибой".

Соединить в себе комсомольца с рабби Акивой, надо сказать, не так просто. Комсомолец — это прежде всего, как всякий коммунист, безбожник. А рабби Акива, крупнейший знаток Мишны, который первый упорядочил законы Галахи,

любил повторять слова своего учителя Иоханана бен-Заккая: "Вы спрашиваете, что значит бояться Бога? Отвечаю: бойтесь Бога, как вы боитесь людей".

В стихах Багрицкого нет ни одного намека на страх перед Богом. Больше того, нет ни одного слова почтения к Богу и веры в Него. Что же тогда нашел в поэте от рабби Акивы Исаак Бабель, протерший не одну пару штанов над Торой и Талмудом? Ребьячливость нашел он, ребьячливость, которая стала "мудростью, потому что он был мудрый человек..."

Свою ребьячливость, свою детскую любовь сохранил до последнего своего вздоха и другой поэт, Иегуда Галеви, который был подобен мудрецам,

...что молча мыслят,
Глядя, как с веселой трелью
Подле них порхают птицы.

Любовь Иегуды Галеви звалась Иерусалим. По преданию, Иегуда Галеви, уроженец Толедо, следуя своей детской мечте, отправился на старости в Святую Землю и, распростершись в экстазе у стен Иерушалаима, погиб, растоптанный насмерть пронесшимся в ворота на полном скаку арабским всадником.

Поэзия Иегуды Галеви универсальна: и небо, и вода, и камни, и звери, и цветы, и любовь — всему нашлось в ней свое место, свое слово. И никто не сказал об этом столь проникновенно, сколь его далекий потомок, такой же, как и он, гений, еврей из Германии — Генрих Гейне, внук раввинов.

Гейне был, кажется, единственным, кого Багрицкий читал своим друзьям в подлиннике — по-немецки. Об этом вспоминают многие. Доктор Рабинович, невропатолог знаменитой Еврейской больницы в Одессе, рассказывала мне, как в студенческие ее годы Багрицкий, босой и голодный, — скидывали копейки, чтобы собрать ему на трамвай и еще "пару копеек"

на всякий случай, — читал "Иегуду Галеви" Гейне:

Весь пунцовый от волнения,
Замирая, слушал мальчик
Пилигрима, что в Толедо
Прибыл из восточных стран
И рассказывал, как древний
Город стал пустыней дикой,
Город, где в песке доньше
Пламенеет след пророка...

А затем, едва переведа дыхание, рубанув воздух рукой,
внезапно перешел он на свое:

Певец без лютни, воин без оружия,
Я встречу дни, как чаши, до краев
Наполненные молоком и медом.
Когда ж усталость овладеет мной
И я засну крепчайшим смертным сном,
Пусть на могильном камне нарисуют
Мой герб...

Что было общего между гейневским "Иегудой Галеви" и "Тилем Уленшпигелем" одесского еврея Эдуарда Багрицкого? Ничего. А между тем... а между тем было ощущение, что поэт просто переменял ритм, ввел слушателей в другое время, в другой быт, но продолжал говорить о главном, о своем: о Вечном Жиде, о смятенном его духе, о постылом и милом вековом бродяжничестве — Пускай моим уделом Бродяжничество будет и беспутство! — и о тысячелетней усталости и тысячелетней грезе о покое: "Спокойно спи, товарищ, Довольно пел ты, выспаться пора!"

Иносказание, перенос главного в далекие, по первому впечатлению, не имеющие ничего общего материи — типичный при-

ем еврейской притчи, типичный прием Агады. Все они строятся на известном психофизическом законе ассоциации: ассоциации по смежности, по подобию, по контрасту и так далее. Однако, чем отдаленнее элементы ассоциации, тем универсальнее сама ассоциация. И еврейское мышление, которое, с одной стороны, отмечено предельной предметностью, с другой стороны, характерно своей высочайшей отвлеченностью, своим универсализмом, своим неумным стремлением проникнуть в суть вещей, в их скрытые, в конечном итоге трансцендентные, связи: "Ну как, скажи, поверит в эту прочность Еврейское неверие мое?" ("Происхождение").

Тиль Уленшпигель, великий герой и великая легенда Нидерландов, многие годы напролет тревожил воображение иудейского мальчика с Базарной улицы в Одессе. Но не сразу, не сразу завладел он его мыслями. Сначала он явился неузнанный, как некий призрак свободы, настолько зыбкий, что всякий раз он облекался в новые одежды, наполнялся новыми красками и звуками, бесконечно далекими от реальной его физической плоти. И в результате являлись на свет Божий стихи, которые много лет спустя, уже после смерти поэта, друг его Валентин Катаев пометит клеймом "гумилятина": "Нам с башен рыдали церковные звоны, Для нас подымали узорчатый флаг, А мы заряжали, смеясь, мушкетоны и воздух чертили ударами шпаг".

Что говорить, Валентин Катаев, который сам определил, что "между поэтами дружба — это не что иное, как вражда, вывернутая наизнанку", был в этот раз все-таки прав, ибо подражание — Гумилеву или не Гумилеву, безразлично, — это подражание. Однако этот же, с тяжелым, исподлобья, взглядом, иудейский мальчик — ну, скорее уже не мальчик, а юноша, — буквально пузырившийся от одолевавших его чувств воителя, бунтаря, мстителя, примерно в то же время написал

про своего собрата Семена Кессельмина, который всю жизнь жил в темном подвале на Дерибасовской, но зато всегда носил при себе письмо от самого Александра Блока, как справку про гениальность, четыре строчки. Вот они, эти строчки: "Мне мама не дает ни водки, ни вина. Она твердит: вино бросает в жар любовный; Мой Сема должен быть, как камень хладнокровный, Мамашу слушаться и не кричать со сна".

Когда с годами в голове у поэта переплавляются церковные звоны, мушкетоны и стихи про Сему, эта поначалу противоестественная мешанина поэта-алхимика, одурманенного собственными колдовскими зелиями, становится благодатнейшей почвой для истинной поэзии. И на этой почве восходят шедевры: "Отец мой умер на костре, а мать Сошла с ума от пытки".

Пять раз возвращался Багрицкий к теме Тиля Уленшпигеля. Почему? Почему именно к Уленшпигелю? Разве не было в истории других блестящих героев, мстителей за поруганную честь своего народа, борцов за его свободу? Разве не стучался в другие сердца пепел Клааса, пепел отцов? Но Багрицкого тянуло именно сюда, в страну Уленшпигеля, в Нидерланды! Но Багрицкого влекли именно голландцы, и уже не в одном "Тиле Уленшпигеле", уже в "Сказании о море, матросах и Летучем Голландце": "Прыгай, судно! Видишь – над тобою Тучи разверзаются, и в небе – Топот, визг, сияние и грохот..." Тут уж и, закрыв глаза, не увидишь, так услышишь Библейский гул и громы. И в центре, повторяем опять, милые сердцу еврея, поэта из Одессы, голландцы.

Можно только удивляться, что сколько ни писали о голландцах Багрицкого, никто не обратил внимания на тот известный всякому школьнику факт, что испанцы, которые жгли и резали евреев, точно так же, спустя немного лет, резали и жгли голландцев. И именно они, голландцы, изгнав из своей Голландии герцога Альбу, по прозвищу "кровавая собака", дали

приют евреям. Помните, монолог бен Иохаи об Амстердаме у Карла Гуцкова, "Уриель Акоста":

Свободой отвоеванной гордясь,
Гордясь богатством гаваней веселых,
Он даже нас, евреев, точно братьев,
Встречает дружелюбно и тепло.

И здесь, в Нидерландах, где на исходе средневековья сыны Израиля чувствовали себя в наибольшей безопасности, расцветает еврейское вольнодумство, то есть критическое, в духе Ренессанса, отношение к жестким установлениям иудаизма. Вольнодумство это представлено двумя, хотя и не равнозначными, но широко известными именами – Баруха Спинозы и Уриеля д'Акосты.

Эдуарда Багрицкого еще при жизни – кто шутя, а кто и не шутя – называли "Уриель д'Акоста из Одессы". Что при этом имели в виду – то ли, что еврей д'Акоста был сначала христианином, а потом вернулся в иудаизм, а потом был дважды отлучен, после чего опять покаялся и покончил, в конце концов, самоубийством, не обретя покоя в своем возвращении к иудаизму, или то, что в мироощущении своем он был пантеистом, предшественником Спинозы, – объяснений не находим. Но, несомненно, пантеист д'Акоста был близок пантеисту Багрицкому, страстному птицелову и рыбоводу, обладателю единственной в те годы в Москве книги по ихтиологии на немецком языке, и последний вполне мог бы повторить слова Уриеля из драмы Гуцкова, как свои собственные:

Еду я на юг...
Туда, где ждет меня уединенье,
Где буду говорить с травой, с цветами...
Когда же мне наскучит их молчанье,
Я с птицами смогу затеять спор.

Ну, насчет уединенья следует, пожалуй, сделать оговорку — ”Уриель д’Акоста из Одессы” не только не стремился к отшельничеству, но, напротив, даже и тогда, когда тягчайшая астма уже в последней хватке своей сдавила ему горло и вкупе с крупозным воспалением легких добила его в возрасте тридцати восьми лет, он, пока хоть как-то еще дышалось, не мог обходиться без людей.

Итак, двумя незримыми нитями был привязан Багрицкий к голландцам и Голландии: с одной стороны, утолялась его страстная жажда отмщения, свободы и духовного величия, которые он, порвавший с традиционным еврейством, не мог и не хотел искать в истории своего народа, с другой же стороны, еврейство его не давало ему покоя и требовало компенсации, пусть, если не в прямом виде, то хотя бы в форме замещения.

Но, Боже мой, где тот удачник, которому удастся всю жизнь отыгрываться на замещениях! Большой русский писатель Николай Лесков, который из страстных юдофобов подался на склоне лет в страстные юдофилы, рассказывал, как в детстве, бегая вокруг бочки, он норовил ”выпередить самого себя”.

Выпередить самого себя не удавалось еще никому на свете, и Багрицкий не был исключением: еврейство его не только следовало за ним по пятам, но постоянно, денно и ночью, бодрствовало в его сердце, в его душе, настойчиво требуя своего слова. И это слово оно получало, и с годами слово звучало не только не глуше, но, напротив, все явственнее, все громче, все напористее. И достигло, наконец, своего громового звучания в последней, оборванной смерти поэта, поэме ”Февраль”:

Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа...
Я много дал бы, чтоб мой пращур
В длиннополом халате и лисьей шапке,

Из-под которой седой спиралью
Спадают пейсы и перхоть тучей
Взлетает над бородой квадратной...
Чтоб этот пращур признал потомка
В детине, стоящем, подобно башне,
Над летящими фарами и штыками
Грузовика, потрясшего полночь...

Добавим от себя, точнее бы тут сказать: потрясшего не полночь, а мир. Но обратим внимание на другое: до последнего вздоха поэт сводит свои счета с еврейством, и пращур его, у которого седой спиралью спадают пейсы и перхоть тучей взлетает над бородой, вполне мог бы сойти за того самого пархатого жида, над которым чуть не целое тысячелетие потешалась да так и не смогла натешиться Русь. Но тут же, строка к строке, представив своего пращура не могучим евреем, который клал жизнь свою за слово Торы, а пейсатым, как любят выражаться новоселы Брайтон Бича, жидом, поэт на весь мир провозглашает: "Моя иудейская гордость пела, как струна, натянутая до отказа!" Больше того, он жаждет при этом, чтобы его услышали и признали, признал не кто-то вообще, а именно этот пархатый еврей, пращур его, которого он и ненавидит, и боготворит одновременно.

Вот эта любовь-ненависть, ненависть-любовь сопровождала поэта чуть не с колыбели до гробовой доски. Другие евреи, сверстники его, — никто не считал, сколько было их, но, во всяком случае, немало — в эти же годы, накануне Октября и во дни Октября, единым махом обрубили свои корни и в угаре революции неслись со всем стадом заодно "зарев навстречу". А когда выяснилось, что была заря, да не та, они вспомнили про свое еврейство и стали собирать на тысячелетних дорогах истории свои обрубленные корни.

Нет, поэту из Одессы, который три четверти своей жизни провел в "еврейских домиках" на Базарной, Ремесленной и Дальницкой, не дано было единым махом отделаться от самого себя. Отделаться, в лучшем случае, можно было от отчего дома, от взыскательного еврейского папы, от заботливой, вечно в тревоге, еврейской мамы. Чтобы отделаться от них, требовалось не так уж много: достаточно было поступить после Февраля в народную милицию, получить ружье, принести это ружье домой и бабахнуть в стенку. Именно так поступил Эдя, и папа с мамой разбежались по углам.

Но в том-то и штука, что легко бабахнуть из ружья, легко напугать папу и маму, которые и без того боялись всего на свете, ну а дальше? А дальше, непрощенные, опять встают перед глазами скрижали, "врата, которые не распахнуть", загораются еврейские свечи и проступают из глубины веков "потемки кровей, допотопный строй". И снова — с буйством, с неистовством гения! — кидается поэт на своих:

Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выширающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.
Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.

"Дверь! Настежь дверь!" — кричит поэт и снова, как бык на красное, бросается в атаку на свое происхождение, которое, разумеется, тоже не остается безответным:

И вся любовь,
Бегущая навстречу,
И все кликушество
Моих отцов,
И все светила,
Строящие вечер,
И все деревья, рвущие лицо, —
Все это встало поперек дороги,
Больными бронхами свистя в груди:
— Отверженный! Возьми свой скарб убогий,
Проклятье и презренье!
Уходи!

Что остается делать отверженному, проклятому еврею?

Я покидаю старую кровать:
— Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!

Но легко это сказать: наплевать! А поди, в самом деле, наплюй, коли все это — милое-постылое! — сидит в костях, в крови, в каждой клеточке тела. И два года спустя, в тридцать втором, в поэме "Последняя ночь", которую даже осторожные рапповские критики, и не из первых друзей, признали гениальной, поэт снова воротился к порогу отчего дома:

Еврейские домики я прошел.
Я слышал свирепый храп
Биндюжников, спавших на биндюгах.
И в окнах была видна
Суббота в пурпуровом парике,
Идущая со свечой.

Нет, это не "еврейские павлины на обивке, еврейские скисающие сливки" – это возвращение блудного сына, истосковавшегося по родному дому, по святине его, "субботе в пурпуровом парике, идущей со свечой". Тут следует еще пояснить, что "последняя ночь" – это ночь, когда кончилось, как говорят старые евреи в Одессе, мирное время и грянула первая мировая война, перевернувшая мир вверх дном.

Порою просто диву даешься, как гнул и давил в себе Уриэль д'Акоста из Одессы иудея и как этот иудей всякий раз, когда речь заходила о самом главном, о самом насущном, о смысле бытия, находил щель, куда можно было просунуть свой длинный, вездесущий нос. Вот в "Разговоре с комсомольцем Н.Дементьевым", откуда ни возмись, выскакивает "нехристь или выкрест", вот в "Папиросном коробке" вдруг раздается барабанная дробь – это "в ослиную шкуру стучит кантонист", вот в "Гимне Маяковскому", протягивает он, "изнеженный на пуховиках столетий... ненавидящий Современность, Ищущий забвенья в математике и истории", свою руку поэту-кумиру.

Стихи, помянутые здесь, написаны не только в разные годы, но, что называется, в разные эпохи, за годы до революции и много-много лет спустя, когда Сталин собрал свою партию на знаменитый "съезд коллективизации", положивший начало самой кровавой бойне, какую знала Россия.

И тут мы опять натываемся на некое противоборство, которое ждало своей минуты, чтобы опрокинуть в иудее иудея:

Вставай же, Всево́лод, и всем володай,
Вставай под осеннее солнце!
Я знаю: ты с чистою кровью рожден,
Ты встал на пороге веселых времен!

Тот самый хоругвеносец, национал-большевистский поэт

Куняев, которого мы уже поминали, на творческой дискуссии по теме "Классика и мы", имевшей место в красноезвездной Москве, в юбилейный, шестидесятый, год Октября, с откровенностью и прямоотой, которым мог бы позавидовать сам Розанов, автор сочинения об еврейском обонянии, ощущении крови и кровавых пасхальных ритуалах, определил: "Эдуард Багрицкий — единственный и законченный в своем развитии в нашей поэзии поэт открытого романтического, идеального сионизма, не делающего различия между идеями мессианства и прагматической жестокостью. Русскую революцию (заметьте, р у с к у ю, а не Февраль, приведший к власти Советы, не Октябрь, приведший к власти большевиков! — А.Л.) он воспринимал под знаком племенного национализма, только как освобождение и возрождение еврейства..."

И что же намеревалось сделать с Русью это "освобожденное и возрожденное" еврейство? Изнасиловать Русь и оплодотворить ее, оплодотворить иудейско-мессианским семенем! И для того, чтобы это насилие и оплодотворение не прерывалось во времени, иудей Багрицкий произвел на свет и сына, которого называет в стихах не Всеволод, а Всево́лод, и говорит про сына своего, что он "с чистою кровью рожден".

И тут бы впору спросить: а что же это за "чистая кровь", с которою рожден Всеволод? Из доклада апологета р у с с к о г о Октября ответ следует с предельной однозначностью: иудейская это кровь. И, стало быть, чистая лишь в кавычках, а на самом деле поганая. Жидовская.

А теперь вернемся к первым нашим строкам: "В графе "национальность", в свидетельстве о рождении сына, Багрицкий написал: "чех". И объяснил регистраторше, что не может же он записать сына итальянцем, коли тот чех. Как видим, об иудеях и речи нет, и даже чисто теоретически, хотя отец мальчика чистокровный еврей, не встает об этом вопрос. Все предельно

ясно: Всеволод Багрицкий, сын Эдуарда Годелевича Дзюбина, рожден с "чистой кровью" — он не иудей. Он славянин. То есть из того великого племени, какое еще при бабушке-царе отец его верноподданически воспел в знаменитом своем стихе "Славяне": "Безумное сердце тевтона, Громовник, бросаю тебе!"

Ну, так как же тут не молвить вслух слова, которые сами просятся на язык: что бы ни говорил сегодняшний московский погромщик о своем собрате по перу Багрицком, оба они, и поэт-жид и поэт-жидомор, по части чистоты кровей вполне согласны: ежели кровь еврейская, то она не может быть чистой, а ежели она чистая, то она нееврейская. Что же касается персонально сына поэта, чеха, Всеволода, то в данном конкретном случае вышла, пардон, небольшая накладка, ибо разоблачитель Багрицкого-Дзюбина, великий мастак по части евгеники, просто был сбит с панталыку иудейскими предками мальчика. А с другой стороны, и то надобно учесть, что коли уж взялся громить, то не останавливаться же того только ради, чтобы спросить, за кем записали мальчика, за обрезанными или необрезанными, и в чьем чреве, христианки ли, жидовки ли, был зачат он.

И все-таки, как говорил один еврей, меламед, потом колхозный ветеринар, из Балты — помните: "Балта — городок приличный, Городок, что надо: Нет нигде румяней вишни, Слаще винограда", — который тоже знал толк в евгенике, поскольку носился всю жизнь с мечтой покрыть тонкорунную овцу грубошерстным бараном, с одного боку, оно так, а с другого боку, так. Надо ли объяснять, что первый "так" и второй "так" — это, как говорят в Одессе, две большие разницы? Так вот, в том же двадцать седьмом году, когда был писан "Папиросный коробок", своего рода напутствие отца сыну — "Прими ж за вещанье..." — Багрицкий вместе со своим другом писателем

Семеном Гехтом совершает поездку в Белоруссию. Побывав в колхозах, они отправляются на охоту и нанимают балагулу, возчика-еврея, чтобы он доставил их в лес. По дороге, рассказывает Гехт, "мы разговорились с Багрицким о проблеме местечка. Он долго меня расспрашивал, так как я бывал и в Подолии, и на Херсонщине, и в еврейских колхозах Крыма и Приднепровья". Никаких подробностей, никаких деталей разговора Гехт не передает, но тут же, рассказывая о второй своей поездке, когда поэта уже не было в живых, он патетически восклицает: "Конец, конец и навсегда конец! — как сказано в Пятикнижии. Исчез традиционный тип угловатого еврея, запечатленного в стольких книгах, еврея картин Шагала и театра Габима. Вы встречаете сейчас в Минске евреев-пограничников, спортсменов, летчиков и снайперов. Прощай, еврей из картин Шагала и театра Габима, прощай навсегда!"

Ну что тут говорить, не житье, а масленица: пограничник, спортсмен, летчик, снайпер — типичные профессии белорусского еврея! Но не это главное, главное — другое: Багрицкий уже не мог видеть ни могилевского, ни минского нового еврея, а видел он того, из театра Габима и картин Шагала: "Стучал сазан в оконное стекло; Конь щебетал; в ладони ястреб падал; Плясало дерево. И детство шло". И именно о нем, сообщает мемуарист, был разговор, и Багрицкий долго расспрашивал — обычное занятие для еврея, которому обязательно надо знать, как живут на свете другие евреи. И про тогдашний Минск он сказал, как мог сказать только одесский еврей: "Да, не Афины". Чуть позднее в одном романе, тоже одесситов, герой произнес почти аналогичную фразу о волжском городе: "Да, это не Рио-де-Жанейро".

Зинаида Шишова, вспоминая первые советские годы в Одессе, приводит перечень любимых танцев Багрицкого: "Танго Геховер", "Мазурка Бродского", "Данс Маккаби". Обра-

тив внимание на специфику названий танцев, поясним в дополнение, что Багрицкий танцевал их под мотив знаменитой "Дерibasовской". Танцевал — это, впрочем, громко сказано, поскольку тучный, страдавший отдышкой поэт мог лишь валять дурака, потешая себя и других. Однако одно па, как рассказывают люди, которые хорошо помнят его с тех лет, было в этих танцах обязательно: это было па из "Фрейлехса", когда еврей, заложив большие пальцы под мышки, двигается маленькими шажками навстречу своему партнеру.

Сборища эти одесских стихотворцев отличались многоплеменным составом, однако по природной своей ментальности Багрицкий расчленял все это общество парнасцев на две основные доли — евреи и неевреи:

Там справа Захаров, и слева Чернов,
И Я-ко-вен-ко есть,
Там столько еврейских и гойских голов,
Там прямо талантов не счесть...

Багрицкий всю жизнь испытывал особое пристрастие к еврейским словам, к еврейским оборотам, которые Марк Тарловский деликатно именует в своих воспоминаниях "меридионализмами". Валентин Катаев в "Алмазном венце" приводит образец этих "меридионализмов": "Даю честное слово. Бенимунис, — не мог не прибавить он (Багрицкий) еврейскую клятву..." Заметьте, даже если бы и хотел Эдя обойтись без еврейской клятвы, все равно не мог бы! Своего друга Якова Бельского он называл исключительно Янкелем, и тот, возвращаясь к давним годам, с явным удовольствием — редкий случай! — вспоминает обычное приветствие поэта: "Здорово, Янкель!"

Еврейский элемент в тогдашних настроениях, в тогдашнем быту Одессы был необычайно силен. Константин Паустовский,

который в своем "Времени больших ожиданий" дал несколько сочных картин тех лет, в шестидесятые годы даже еврейские песни не решился назвать их собственным именем, а представил под псевдонимом "окраинный фольклор". Между тем тридцатью годами раньше Зинаида Шишова, вспоминая, как в семидесяти пяти верстах от Одессы она встретила поезд с отрядом знаменитого Мишки-Япончика, к которому подкатил агитпоезд "III Интернационал", где находился Эдуард Багрицкий, говорит: "Полотна с лозунгами вились над ним (агитпоездом), как свитки Торы".

Таковы были времена, и даже лозунги советской власти, в которых, разумеется, не было ничего от "свитков Торы", сравнивались с ними на основе случайного внешнего сходства, которое, однако, придавало лозунгам некий почти библейский масштаб.

Ну так спрашивается: какому еврею было это под силу — забыть, задавить в себе все родное и отбросить прочь?

В детстве, когда сосед мой Лева Шмушкович собирал детекторный приемник, я впервые увидел магнит: одна половина его, синяя, была минус, другая, красная, — плюс. Мне объяснили: плюс от минуса отделить нельзя. Я спросил: а если разрубить магнит пополам, как раз где граница? Мне ответили: разрубить можно, но у каждой половины появится свой плюс и свой минус. Я спросил: а если разрубить эти половины? Оказалось, с этими половинами произойдет то же самое: опять, с одного конца — плюс, а с другого — минус. Я сказал: а если разрубить еще раз, на такие кусочки, чтобы осталось место только для плюса или только для минуса? Лева разозлился на меня и сказал: иди, йолд, у тебя еще маленькие мозги. И добавил неприличное русское слово.

Сказать — или даже просто заподозрить! — что у Багрицкого были "маленькие мозги", это не придет в голову никому,

даже последнему дураку. И тем не менее, факт остается фактом: всю свою жизнь поэт пытался разрубить магнит пополам, норовя отсечь один полюс — еврейский. Но как ни корежил он себя, как ни рубил, как ни рассекал свою душу, еврейство его не только не поддавалось истреблению, но с годами все властнее заявляло себя.

Борьба, как всякая борьба, шла не по наезженной, накатанной дороге, а по ухабам, по взгорьям, над обрывами, над пропастями, с движением то вперед, то вспять, причем сплошь да рядом нельзя было с уверенностью даже сказать, куда именно — вперед или вспять.

Движение это крайне осложнялось общим отношением поэта к революции. Когда поэт умер, за гробом его следовал почетный эскорт — эскадрон кавалеристов. Тогда и многие годы спустя в школе пионеры учили наизусть его стихи:

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Однако Селивановский вспоминает: "У него в прошлом был тяжелый период сомнений в революции". Критики называли его "сомневающимся и больным Уленшпигелем" и упрекали за абстрактность, которой отмечены были даже наиболее революционные его стихи. Побивали его камнями и за комиссара Когана из "Думы про Опанаса", поскольку комиссар получился схематичный, в то время как надлежало ему быть полнокровным большевистским апостолом. А не получился он полнокровным в силу того факта, что поэт Багрицкий, как объясняли, ухватил лишь внешнюю сторону революции, но не способен был, по причине своих биологизмов, дойти до ее сердцевины.

Даже после смерти поэта друг его Бабель счел необходимым вступить за него: "Ему ничего не пришлось ломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбоводов, комсомольцев. Говорят, он испытывал кризисы, подобно другим литераторам. Я не заметил этого".

Эти бабелевские слова сродни тем, которые он сказал о самом себе, когда публично заявил, что ему не нравится его собственная "Конармия": какой адвокат, тем более из своих, может позволить себе роскошь быть искренним и откровенным на судилище!

А теперь давайте сравним с этими словами слова другого, не менее близкого Багрицкому друга, чем Бабель, Юрия Олеши: "Мы очень часто вспоминаем удивительные жизни поэтов. Жизнь Виллона, Байрона, Эдгара По, Артюра Рембо. Нас восхищают подробности этих биографий, их странность, необычность, их близость к вымыслу. А ведь жизнь Багрицкого была сродни жизни этих поэтов. Это была жизнь артиста в самом чистом, волнующем и величавом смысле этого слова. Почти детская мечта о силе, о воинственном, о саблях".

Заметьте, ни слова о революции, о чекистах, о комсомольцах! И даже ни одного сравнения с отечественными поэтами, а сплошь Западная Европа и Америка! И вообще, будто в стране нет никакой советской власти, никакой ВКП(б), "жизнь артиста в самом чистом, волнующем и величавом смысле этого слова". А под занавес поразительные — поразительные вдвойне: и демонстративной своей "надклассовостью", и глубиной проникновения! — слова о детской мечте поэта: мечте о силе, о воинственном, о саблях.

Однако какова была природа этой детской мечты поэта о силе, о воинственном, о саблях, Олеша не сказал. А ведь мог сказать, ибо сам же до этого сообщил: "Он жил на Ремесленной улице, в затхлой еврейской квартире, с громадными комодами, среди темных углов..."

Чего не решились сказать друзья и свойственники — жены Багрицкого и Олеси, Лидия и Ольга Суок, были родными сестрами, — сказал в поэме "Февраль", накануне своей смерти, когда топталась она уже не то что у порога, у самой постели, у изголовья, сам поэт:

Маленький иудейский мальчик —
Я, вероятно, один в округе
Трепетал по ночам от степного ветра.

Далее следует некое удивление поэта по поводу собственной метаморфозы, однако не торопитесь толковать это удивление буквально, ибо оно не более поэтической фигуры, которая имеет своей целью лишь усилить эмоциональный заряд авторской исповеди:

Как я, рожденный от иудея,
Обрезанный на седьмые сутки,
Стал птицеловом — я сам не знаю!
Видно, созвездье Стрельца застряло
Над чернотой моего жилища,
Над пресловутым еврейским чадом
Гусиного жира, над зубрежкой
Скучных молитв, над бородачами
На фотографиях семейных...

И опять, как всегда, как всю жизнь, от колыбели до гробового входа, куда ни кинь, везде клин: везде оно, это еврейство, со своим иудаизмом, своим обрезанием, своим кухонным чадом, зубрежкой постылых молитв и рядами предков в фамильных фотоальбомах.

И "маленький иудейский мальчик", который "трепетал по ночам от степного ветра" — вопреки его предположению, он был, как показала жизнь, отнюдь не один такой в округе! —

находил причину всех зол, всех бед, которые обрушивают на него будни, в своем еврействе.

А выход в чем видел он? Выход, как объясняли нам не только недруги, ревнители стадной чистоты России, но и кое-кто из друзей этого иудейского мальчика, который стал большим поэтом, видел он в революции. Но так ли это?

Не будем играть в прятки, признаем без обиняков: в поэтическом его скарбе можно найти сколько угодно гимнов революции. Однако весь вопрос в том, что это за революция! Большевистская, Октября семнадцатого года? Да, местами, несомненно, она. Но поэмы "Октябрь" у поэта нет, а есть поэма "Февраль" — последнее слово, за которым смерть навеки замкнула уста его. Но кто же не знает, что между Февралем и Октябрем лежит целая пропасть, и ежели бы Россия не перекинулась через эту пропасть, из Февраля в Октябрь...

Стоп! Прочь сладкие грезы! "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать" (Екклесиаст, 1:15).

Но какое дело поэту до фактов: на то он и поэт, чтобы, хоть не наяву, так в воображении своем остановить Историю там, где это ему "хотится, хочется, хочется"! И последним усилием воли он останавливает ее — в Феврале. Следует ли удивляться, что поэма "Февраль" не включена в сочинения Багрицкого, изданные в пятьдесят шестом году, во времена "оттепели", "Библиотекой поэта", которая была основана самим Горьким, хотя в очерке Всеволода Азарова, предпосланном этим сочинениям, писано черным по белому, что Багрицкий, подобно Николаю Тихонову, мог бы о себе сказать: "Меня сделала поэтом Октябрьская революция".

Мог бы, да не сказал, а сказал нечто совсем другое: "Моя повседневная работа — писание стихов к плакатам, частушек для стен и уст-газет была только обязанностью, только способом добывания хлеба. Вечерами я писал стихи о чем угодно,

о Фландрии, о ландскнехтах, о Летучем Голландце, тогда я искал сложных исторических аналогий, забывая о том, что было вокруг...” И чтобы, не приведи Господь, не подумали чего плохого, тут же добавил: ”Я еще не был во времени — я только служил ему”.

Допустим, слова эти искренни: тогда, в самые первые годы революции, он еще не был во времени, а только служил ему. А позднее, много лет спустя, когда революции пошел второй десяток, был уже ”во времени” или по-прежнему не был? Если же был, то как понять любимца его Ламме, который бросает ему, поэту, тягчайший упрек:

Давно пора
С тобой потолковать! Ты ослабел,
И желчь твоя разлилась от безделья,
И взгляд твой мрачен, и язык остер.

Нечего сказать, хорошенький портрет — точнее, автопортрет — певца Октября! Чего же, кого же ищет певец? А вот чего он ищет, вот к кому влечется душа его, вот кого он поет:

Пока плывет над этой мостовой
Тяжелое просоленное солнце,
Пока вода прохладна по утрам,
И кровь свежа, и птицы не умолкли, —
Тиль Уленшпигель бродит по земле.
.....
Я Тиля Уленшпигеля пою!

(”Встреча”)

Опять и опять туда, в Голландию, где обретался он в воображении своем ”с самых малых, юных лет”! Прямо скажем, не только мало подходящее, но и в высшей степени сомнительное занятие для певца пролетарской революции.

И конечно же, крамола эта не прошла незамеченной, и в записной книжке поэта находим проникновенные и безмерно горькие слова: "Несколько лет каждое мое стихотворение рассматривалось как манифест биологизма. Это было страшным обвинением. Никто не интересовался, почему после "Опана-са", в котором социальное качество превалировало над остальными элементами поэмы, я, Багрицкий, увидел мир, расцвеченный красками Гогена, потерявший свои основные очертания..."

Запись на этом обрывается: мир потерял "свои основные очертания", мир рушится – воистину гамлетовская трагедия, и не на сцене, не в театре, а в жилище смертельно больного поэта! И Боже мой, какая бездна наивности, какая потрясающая инфантильность: никто не поинтересовался, почему для него, Эди Багрицкого, мир, расцвеченный красками Гогена, потерял свои основные очертания! Да проживи ты, милый человек, несколькими годами дольше, за такие слова спровадили бы тебя, со всеми твоими душевными и физическими болячками, туда, куда угодили сотни и сотни твоих братьев, куда угодила и твоя вдова, некогда жена стихотворца, Лидия Багрицкая, – в края, откуда поэтам нет возврата.

Сколько едких, ядовитых слов пришлось – и приходится поднесь – слышать о еврейском прагматизме, о еврейской расчетливости, еврейской хитрости! И даже от тех, кто чурается стана юдофобов, кто восхищается евреями Шагала. Но многие ли поминали бескорыстие евреев, самоотверженное их служение Слову, готовность обречь и себя, и своих детей на голод, на вечную нужду того только ради, чтобы оставаться самими собою, чтобы, подобно сыну Давидову, "познать мудрость и познать безумие и глупость"!

Поэт, за гробом которого следовал эскадрон молодых красных конников, еврей Багрицкий – хитрый и жадный, как

все евреи! — всю свою жизнь буквально нищенствовал, жена перешивала ему рубахи из какого-то ветхого тряпья, которое подбирали чуть не с мостовой, и, когда московский финагент пришел описывать за неуплату налогов его имущество, во всем доме нашлись всего две стоящие вещи: сломанное ружье и аквариум! Воистину, ”знак ордена Нищих, знак братства Бродяг”!

Но Эдуард Багрицкий, который навсегда остался еврейским мечтателем, фантазером из ”вольного города Черноморска”, выбрал себе на все трудные случаи такой же, как и у великого его собрата из туманного Альбиона, девиз:

Затверди, не забудь:
Королевским законам
Нам голов не свернуть!

Увы, девиз девизом, а живая жизнь есть живая жизнь. И хочется ему, поэту, чувствовать себя нужным, чувствовать себя сильным, хочется и сладостной любви и не менее сладостной мести за безмерные страдания, за бесчисленные унижения, и не только свои, но и безвестных предков своих. И полнится кровью, полнится буйными соками неумная его детская мечта ”о силе, о воинственном, о саблях”.

Эммануэль д’Астье, сподвижник де Голля, очень точно заметил: мужчина и в шестьдесят лет, вырвавшись из дому, становится мальчиком. Багрицкий едва перевалил за половину лет, исчисленных французом, но болезнь, особенно в последние годы, невероятно старила его: лицо сделалось землисто-бурым, волосы серыми, под глазами легли тяжелые синие мешки. Это наметилось еще в Одессе, до переезда в Москву. Катаев, у которого самодовольства и самоуверенности достало бы на дюжину поэтов, и тот приуныл, когда задался целью вызволить Эдю из провинциального плена: ”Казалось... он навсегда оста-

нется в Одессе, ставшей украинским городом... Он жил в хибарке на Молдаванке. Его пожирала бронхиальная астма. По целым дням он по старой привычке сидел на матрасе, поджав по-турецки ноги, кашлял, задыхался, жег специальный порошок против астмы и с насадой вдыхал его селитренный дым”.

Казалось бы, кому под силу такое выдержать, не только выдержать, но еще и писать при этом стихи! Но иудейский мальчик – повторим еще раз: до последнего вздоха он оставался мальчиком, – который унаследовал от своих предков вместе с их телесными болячками и могучий их дух, неумную волю к жизни, ”стихи ”для души” писать не бросил”. И вот эти стихи для души, а не алчность, не жажда славы – ”Что слава? – каламбурил он. – Жалкая зарплата на бедном рубище певца”, – день и ночь бередившие его душу, ложились на страницы обычной ученической тетрадки, и уже через несколько месяцев из подмосковного поселка Кунцево пошли гулять по белу свету комиссар Иосиф Коган и украинский казак махновец Опанас.

Два штриха дают ясное представление, как восприняли современники ”Думу про Опанаса”: поэма была напечатана в ”Комсомольской правде”, одной из трех ведущих советских газет, а десять лет спустя, в тридцать шестом году, Горький, предлагая создать антологию советской поэзии, в первую голову назвал ”Думу про Опанаса”.

Критическая литература о поэме в сотни раз превосходит по своему объему самое поэму. Однако все эти горы бумаги, прокатанной под типографским валом, гудят, по сути, об одном: о великой пролетарской борозде, которую провел большевистский Октябрь через самое сердце России, отделив народ, то есть тех, кто стал под знамена РСДРП (б), от не-народа, то есть всяких белогвардейцев, кулачья и подкулачников.

Марксистская философская доктрина диктует именно такой подход к литературе, ибо, как учил Ленин, литература партийна по природе своей и этика и эстетика сводятся в ней к единому — социальному, классовому анализу движущих сил общественного развития. Что же касается мифа — хотя сам марксизм со всеми своими базисными и надстроечными атрибутами верховенства и подчинения да идеей грядущего пролетарского эдема плод чистого мифотворчества! — то он целиком относится в темень доисторических веков, а всякие модные ныне на Западе мифологические школы, берущие свое начало еще в минувшем, девятнадцатом, столетии, в теперешнем своем виде, говорят большевики, произведены на свет новыми франкмасонами, духовный папа которым известный венский шарлатан Зигмунд Фрейд. Само собою, еврей.

Увы, чтобы разговор получился дельный, и нам не миновать сего — компании фармазонов-мифологов. Однако в интересах истины следует поставить читателя в известность, что и сам отец соцреализма Горький принадлежал к этой компании, ибо на первом съезде писателей не только признал живучесть легенды, мифа, но и прямо призывал советских писателей напитать свои творения тем романтизмом, "который лежит в основе мифа", то есть такого рода сочинения, которое приобщает желаемое к реальному, а проще говоря, выдает это желаемое за действительность.

В "Думе про Опанаса" не интересуется нас сам по себе герой, хотя имя его вынесено в титул, украинский казак Панько, предшественник знаменитого шолоховского Григория Мелехова из "Тихого Дона". А интересуется нас, по еврейскому нашему делу, лишь одна фигура — Иосиф Коган, комиссар продотряда, большевик.

За Иосифа Когана, как было уже сказано, Багрицкого поначалу побивали камнями, поскольку большевистский апостол

получился малокровный, без железных бицепсов борца за революцию, без четко изложенной партийной программы, по какой-то причине и смерть его от пули Панька, перебежавшего из красного продотряда к махновцам, хотя и героическая по внешним приметам, все же была не совсем та смерть, которой надлежит помирать истому большевику.

С годами, однако, оценка менялась, и тридцать лет спустя Всеволод Азаров в своем установочном исследовании целиком и полностью реабилитирует когда-то казавшегося анемичным комиссара: "И тогда, когда комиссар разговаривает с крестьянами (читай: отбирает у них заработанный собственными мозолями хлеб! — А.Л.), и в грозный час опасности, когда он попадает вместе со своими бойцами в руки к бандитам, и расставаясь с жизнью, Коган предстает перед нами как цельный в своей высокой духовной чистоте и собранности характер".

Однако в своем движении вперед, от хорошего к лучшему, от лучшего к еще лучшему, как оно виделось спецам из Большого Гнездиновского переулка и Ново-Басманной, Коган на этом не остановился, и десять лет спустя в монографии Ирины Рождественской "Поэзия Эдуарда Багрицкого" поднялся не то что на следующую ступень, а перескочил уже и во все на другую лестницу и предстал прямым великомучеником из "Жития святых", ибо, как объясняет авторша, был дан ему врагом шанс бежать, то есть сохранить жизнь, однако же не захотел комиссар жить, а захотел умереть и своею смертью указать заблудшему врагу путь к правде. Правда же, естественно, как была, так и есть на свете одна: большевистская.

Думается, комиссар Коган карьеры своей еще не закончил и вполне может рассчитывать на Золотую Звезду (посмертно), — однако стали уже набегать над иудейской его головошкой и черные тучки: берутся потихоньку-полегоньку за него, обрезанного, национал-большевики, ибо не выращивал он

своими руками мужицкого ”житняка”, а жрал, да еще с молоком и медом жрал, и хотя работал на Октябрь, но лишь по форме, для видимости, а на самом деле работал на своих, на гнусное свое семя, на сионистов.

А теперь и нам время приспело поглядеть ”прямо, без уклона”, на этого Когана, который имел привычку смущать мужиков ”прокурорскими речами, большевицким разговором”. Прежде всего: живая он, полнокровная фигура или бледная лишь тень чего-то реального, имевшего место в живой жизни? Правило формальной логики гласит: или — или, третьего не дано. Этим правилом и руководились московские литературоведы, и поэтому поначалу Коган был признан бледной тенью, а с течением времени, когда детали революции и гражданской войны стали скрываться в дымке лет, обнаружилось, что он не только не тень, но, напротив, донельзя полнокровная фигура.

Наперекор формальной логике, наперекор московским душеведам от литературы позволим себе утверждать, что Иосиф Коган ни то, ни другое, то есть ни тень, ни полнокровная фигура, а нечто третье.

Что же оно, это третье? Третье — это миф. Иосиф Коган — миф, ибо в герои, в бессмертие привели его не дела, не комиссарские речи, не большевицкие идеи, а смерть. И в эпилоге устами охранителя нового строя, красноармейца, идущего ”через равнину, Через омут зноя, В молодую Украину, В жито молодое”, и устами самого поэта декларируется с величайшей мыслимой патетикой:

— Ты глядел в глаза винтовке,
Ты погиб как надо!

.....

Так пускай и я погибну
У Попова лога —
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган!..

Да этому и поверить трудно: не пускай живу, как жил комиссар продотряда большевик Коган, а пусть погибну, как он, погибну "как надо".

Но что более всего поражает, так это не мечта красноармейца, не мечта самого поэта погибнуть, как погиб человек с таким, из самых недр еврейской души, – ибо "коген" – это "священник", "жрец", – именем, а прямо-таки патологическое по страсти своей желание самого убийцы свести счеты с жизнью, как свел их Коган:

Как дрожала даль степная,
Не сказать словами:
Украина – мать родная –
Билась под конями!
Как мы шли в колесном гrome,
Так, что небу жарко,
Помнят Гайсин и Житомир,
Балта и Вапнярка!
Наворачивала удаль
В дым, в жестянку, в Бога!..
...Одного не позабуду,
Как скончался Коган...
Разлюбезною дорогой
Не пройдутся ноги,
Если вытянулся Коган
Поперек дороги...
Ну, штабной, мотай башкою,
Придвигай чернилу:
Этой самою рукою
Когана убило!..

А раз его, Опанаса, "рукою Когана убило", то и ему, хотя штабной и понятия не имел обо всей этой истории с комисса-

ром, нет резону продолжать свою постыльную жизнь:

Погибай же, Гуляй-Поле,
Молодое жито!..

Ну, как в действительности относились потомки запорожских казаков к еврейским смертям в годы гражданской войны, объяснять не надо. Достаточно привести одну цифру: сто восемьдесят тысяч евреев, убитых всякими батьками и атаманами только на Украине. Если даже и находились среди казаков Опанасы с этакой, а ля Достоевский, капризной душой, то уж никак не могли они служить моделью для поэта, а была им прямая дорога к психопатологу.

Однако встретились мы с Паньком не у психопатолога, а у поэта Багрицкого. И встреча эта оставила незабываемое впечатление. В чем же дело? Почему верим мы в невероятное, почему "горячими слезами", как говорил великий русский поэт, обливаемся над вымыслом?

Почему? Да потому, что таково свойство нашей души, таково свойство нашей мечты, нашей неосуществленной в живой жизни, но осуществленной в искусстве "почти детской мечты о силе, о воинственном, о саблях".

Напялив на своего героя краснозвездную буденновку, поэт Багрицкий реализовал в дозволенном официальными канонами материале о гражданской войне свою мечту о сильном еврее. А сила и мужество самую жестокую проверку свою проходят через смерть, и кто не дрогнул перед лицом смерти, тот и есть герой, человек из мечты, человек из мифа.

Восприятие смерти как апофеоза не было в те годы уделом одного Багрицкого. Не только литературные герои искали в революции "славной кончины, как Иосиф Коган", но и народ распевал тогда и многие годы после песни, в которых выражал страстную свою жажду помереть гуртом, скопом: "Смело мы в бой пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе

за это”, ”И все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой!”

И, естественно, чтобы довести до последней точки свою идею о мужестве, о силе, о величии, Багрицкому недостаточно было одного лишь себя и своего героя, принадлежащего к тому же, что и он, племени, ввергнуть в экстаз, но нужен был ему человек из другого племени, враг, чья ”шуба с мертвого раввина под Гомелем снята”, и эта роль иноплеменника, который берет урок высшего бесстрашия, абсолютного мужества у еврея, досталась украинскому казаку, потомку запорожцев, тех самых, для кого Сруль, Мошка и Йоська спокон веков были лишь обиралами-шинкарями.

Не вызывает сомнения, что постоянная, неутолимая жажда героического черпала свою энергию и в инстинкте самосохранения тяжело больного человека, однако не это было главное: главное было еврейское происхождение поэта и отношение его к этому происхождению, которое ни на минуту, ни на секунду не давало забывать о себе и постоянно требовало, как говорили в старое романтическое время, сатисфакции. И тут уж иудею никак нельзя было ссылаться на свое недворянское происхождение, тут надо было, хотелось того или не хотелось, подобрать брошенную перчатку и драться не жизни ради, а чего-то еще более важного, более ценного, чем сама жизнь, — драться за честь обруганного, оболганного древнего своего племени. И человек из этого племени, единокровный брат поэта, двойник его, принимает вызов, навязанный временем, навязанный историей, — и побеждает, ибо кто глядит без страха в глаза смерти, тот и победитель!

Итак, каковы бы ни были приметы времени, приметы революции в ”Думе про Опанаса”, Багрицкий славословил не комиссаров, не большевиков, порою он даже откровенно пренебрегал психологической мотивировкой, жизненной достовер-

ностью поведения своих героев — помните, когда поймали Когана и привели на свиданьице с Нестором Махною, ”Поглядел Махно сурово, Покачал башкою, Не сказал Махно ни слова, А махнул рукою”, вот и вся встреча батьки с важной птицей, красным комиссаром, — ибо детали подлинной жизни интересовали поэта лишь постольку, поскольку необходимо было привязать события и людей к какому-то времени да заодно, хоть по минимальному счету, потрафить партийным володарям. А высшая задача была совсем другая: представить свое родное племя в образе сына его символом непоколебимого бесстрашия и причаститься, как песнопевец, как верный сын того же племени, этого бесстрашия, ибо кто умер без страха, тому поклон и современников и потомков, тому и место в ряду своих жестоковыйных пращуров.

В советском литературоведении эта сторона души Багрицкого обходится сторонкой, почитай, уже добрых полстолетия. Да что там обходится: с нею обращаются, как обращаются с несуществующим, относительно которого даже и необходимости нет доказывать, что оно не существует. И только единожды друг поэта Сергей Бондарин, русский человек, рассказывая о последних днях барда ”чекистов, механиков, рыбоводов”, приводит стихи из поэмы ”Февраль” — Моя иудейская гордость пела... — и поясняет: ”С необыкновенной отчетливостью Багрицкий опять заговорил в этом произведении о том, что волновало его всегда, всегда требовало выражения”.

Обратите внимание: опять заговорил о том, что в с е г д а волновало его и в с е г д а требовало выражения. Заговорил с необыкновенной отчетливостью. Стало быть, хоть и не с такой отчетливостью, однако же говорил и прежде, ибо не было в жизни поэта такого дня, такого часа, когда бы это не волновало его. Но вот позволить себе полную откровенность, открыться, что называется, душу нараспашку, он смог только

тогда, когда одной ногой был уже по ту сторону добра и зла, добра и зла, разумеется, в их большевистской интерпретации.

Последние два года Багрицкий каждодневно жил в ожидании смерти и постоянно говорил об этом. Говорил об этом, как может говорить только еврей: с гримаской, с ужимкой, с лихим словцом и иронией, — потому что еврею, если он настоящий еврей, не пристало искать сострадания и милосердия. Любить жизнь это значит любить ее до последнего вздоха, но помнить при этом, как учили наши отцы, что все произошло из праха и в прах воротится.

Выглядел поэт так, что, по словам Петра Сторицына, друга его еще по дореволюционной Одессе, было больно на него смотреть: "Эдя свинцовый, угловатый, болезненно-неповоротливый, тяжелый, точно плохо координирует движения". И при этом, повторяем, он продолжал ерничать, кривляться, чтобы замаскировать ужимкой свои страдания и, что еще важнее, свою доброту. Ту природную доброту, "о которой Артур Шопенгауэр писал, что она выше всех талантов человеческих".

Последние слова я взял в кавычки, потому что они не мои, потому что это слова Петра Сторицына, который завершает свои воспоминания вопросом, обращенным к самому себе: "Теперь, когда его нет, я спрашиваю себя, что я узнал от Эди о нашей земной жизни?" И отвечает самому же себе, но уже не только себе одному, ибо предназначены были эти слова для сборника воспоминаний о Багрицком, куда, кстати, так и не попали. Вот они, слова эти: "Я узнал, что высшая доблесть человека — это дружба, благородство и бескорыстная любовь к товарищу. "Страстное бескорыстие", как сказал о нем Исаак Эммануилович Бабель".

Увы, обыкновенная, старая как мир, история: праведник должен помереть, чтобы признали в нем праведника. Между тем, смертельно больной, поэт нашел в себе силы написать

около сотни рецензий для издательств, где решалась судьба безымянных еще в ту пору авторов. Среди этих авторов были Дмитрий Кедрин и Алексей Сурков. Среди этих авторов был и Александр Твардовский, который многие годы спустя писал о Багрицком: "По-видимому, он обладал и добрым сердцем, и той обширностью взглядов в литературных делах, которая позволяла ему отмечать своим вниманием работу, казалось бы, совершенно чуждую ему по духу и строю".

Да, пантеист Багрицкий всю жизнь жил по закону нравственности. Повиновение этому закону – основа сотрудничества с Богом, ибо, по выражению Талмуда, оно включает в себя "подражание божественным атрибутам": "Он милосерден, будь и ты милосерден: Он милостив, будь и ты милостив; Он праведен, будь и ты праведен" (Сифра, Ваикра, 19, 2).

Великий мудрец и не менее великий мыслитель и врач Рабену Моше бен Нахман (Нахманид) сказал однажды: "Человек может быть отвратительным в строгих рамках Торы". Продолжить эту мысль можно словами из Талмуда: знать Бога и нарушать Его волю – еще хуже, чем просто отрицать Его существование.

Багрицкий, отрекшийся от веры отцов, не мог одолеть в себе унаследованного от них мироощущения и в своем восприятии мира – "И пред ним, зеленый снизу, Голубой и синий сверху, Мир встает огромной птицей, Свищет, шелкает, звенит", – в своем взгляде на человека и в своих отношениях с ним держался, движимый исключительно внутренним своим импульсом, всю жизнь так, как будто постоянно чувствовал присутствие Того, кто этот мир сотворил. И в своем отношении к главной работе, ради которой он был призван в этот голубой и зеленый, подобный огромной птице, шелкающий, звенящий мир, он был главным себе надсмотрщиком – никаких посредников, учит Тора, для достижения высшей гармонии! – и бич,

закрученный его рукой, постоянно свистел над его собственной головой: "Я умираю потому, что я поэт. Нет в мире творчества, которое так бы разрушало..."

Нет никакого сомнения, что разрушительная сила этой работы увеличивалась во много крат конкретными условиями советской действительности. Обреченный на вечные материальные невзгоды, поэт лишь незадолго до своей смерти вздохнул чуть свободнее: слава, как заметил Виктор Шкловский, "принесла электричество... мотор, который подкачивал рыбкам то, чего не хватало Эдуарду, — воздух.". Из Кунцева переехали в новый писательский дом в проезде МХАТа, достатка стало больше, гостей, вспоминает близкий друг семьи, потчевали не только жареной картошкой, как в былые дни.

Однако именно в эти годы критики затевают новые атаки под бравым кличем: "Багрицкий — романтик, начавший лить". И поэт, задыхаясь, кричит в оправдание себе:

Механики, чекисты, рыбководы,
Я ваш товарищ, мы одной породы,
Побоями нас нянчила страна!

Ну насчет того, что свой, "одной породы", хочется ответить словами бабелевского мужика: свой — "хучь в рабины отдавай"! А что касается побоев, которыми нянчила страна, то тут впору задаться простейшим вопросом: неужто человек, пребывающий в здравом уме и памяти, может всерьез поставить в один ряд побои, которыми страна "нянчила" всяких поэтов-механиков-рыбководов и чекистов! Нет, тут надо, как говорили мальчики с Большой Арнаутской в Одессе, малахольным быть, чтобы не почувствовать издевки в самом этом нелепом ряду профессий — какие-то поэты-рыбководы и молодцы-лубянцы!

И на той же ноте, не снижая голоса, поэт публично составляет свой гороскоп:

Приходит время зрелости суровой,
Я пух теряю, как петух здоровый.
Разносит ветер пестрые клочки.
Неумолимо, с болью напряженья,
Вылазят кровавистые стручки,
Колючие ошметки и крючки —
Начало будущего оперенья.

(“Вмешательство поэта”)

”Здоровый петух”, Багрицкий был, однако, слишком оптимистичен в своих прогнозах: новое оперенье шло медленно, туго, переживая, как говорят в медицине, свой латентный, скрытый, период.

Но точно так же, как в случае с болезнью, о которой мы узнаем уже тогда, когда она прошла свой латентный период и открылась, по лебединой песне поэта, поэме “Февраль”, мы можем определить, какие соки бродили в его душе, когда писались знаменитые, высочайшие по мастерству исполнения, “ТВС”, “Происхождение”, “Человек предместья”, “Смерть пионерки” и потрясающая, буквально занимающая дух, поэма “Последняя ночь”: “Была такая голубизна, Такая прозрачность шла, Что повториться в мире опять Не может такая ночь”! Напоминаем, неповторимая эта ночь — последняя ночь “мирного времени”, за которой грянула первая мировая война.

Просто поразительно, как упорно, как неодолимо, о чем бы ни писал Багрицкий, влечет его к прошлому! Не в том смысле влечет, что он жаждет возврата его — о возврате нет и речи, — а в том, что с этим прошлым надо произвести наконец полный расчет. Последний расчет.

Еще удивительнее, однако, другое: рассчитаться надо не только с прошлым, но и с настоящим. Даже в “ТВС”, где с глазу на глаз ведется разговор с чекистом номер один, железным Феликсом, — во, радостно вопят по сей день моло-

догвардейские критики, переключка поэтов, почти по Маяковскому: юноше делать жизнь с кого? Делай ее с товарища Дзержинского! — поэт руками и ногами отбивается от мира, ”который удушьем ползет в крови, который до отвращения мил”. Вот его, выдержанная чуть не в бабелевских тонах и красках, картина:

...Солнце спускается по стене.
Кошкам на ужин в помойный ров
Заря разливает компотный сок.
Идет знаменитая тишина.
И вот над уборной из досок
Вылазит неприбранная луна.

Неприбранная луна над уборной из досок, ничего не скажешь, хорошенький эскизик нового мира! А дальше следует нечто весьма странное — не то исповедь, не то поучение первого в истории рабоче-крестьянской власти хозяина Лубянки:

— Под окошком двор
В колючих кошках, в мертвой траве,
Не разберешься, который век.

Ну и ну, Феликс Эдмундович, и не разобрался, ”который век”, какое тысячелетье на дворе!

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать,
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься, — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: ”Солги” — солги.
Но если он скажет: ”Убей” — убей.

.....

И стол мой раскидывался, как страна,
В крови и чернилах квадрат сукна...

Вот уж признание так признание: в крови и чернилах квадрат сукна величиной со страну, а страна-то Расея — от океана до океана!

И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.
О мать-революция! Нелегка
Трехгранная откровенность штыка...

Лев Кассиль рассказывает: однажды он читал Маяковскому "Контрабандистов" Багрицкого. Маяковский слушал-слушал, а потом вдруг сказал: "Неинтересно. Стихи для гимназистов". И тут же сам прочитал на память:

Вот так бы и мне
В налетающей тьме
Усы раздувать,
Развалясь на корме...

А прочитав, иронически пробасил: "Это, так сказать, мечта поэта", — и тут же процитировал еще кусок:

Иль правильной, может,
Сжимая наган,
За вором следить,
Уходящим в туман...

Закончив цитату, "лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи", который тогда еще не был лучшим, талантливейшим, а стал им, по указанию кавказского горца, хозяина России, только через пять лет после своей смерти, заметил: "Недурненькое сомненьице для советского поэта: не знает, с

кем ему быть, с контрабандистами на шаланде или с пограничниками на дозорном катере”. И это, добавим от себя, в 27-ом году – в десятилетие Октября!

Маяковский, по сообщению Кассиля, тут же, правда, поспешил обелить своего коллегу, который, по его словам, просто становится в романтическую позу, воспевая всяких флибустьеров, кондотьеров и ”всю эту завозную романтику на фейерверочном пшике”, а на самом деле точно знает, что быть ему только с родной советской властью и ни с кем другим.

Думаю, однако, что один из двух здесь врал: либо Маяковский, который был человек, безусловно, пронизательный и не мог не видеть, что вся ”романтика” Багрицкого именно от неудовлетворенности действительностью, которая в те годы, как и поныне, была советской действительностью, – кстати, и сам он, ”лучший, талантливейший”, не выдержал этой действительности и пустил себе пулю в сердце! – либо Лев Абрамович Кассиль, который, как человек с хорошо натренированным чувством верноподданничества, предпочел и обоих поэтов наделить тем же благородным духом.

Что касается Багрицкого, то, какие гимны ни слагал он чекистам, механикам, рыбводам, верноподданничеством, как мы уже знаем, там и не пахло. Багрицкий, хотя и бывал порою уклончив, однако в принципиальных случаях никогда не опускался до торговли собою. Татьяна Тэсс рассказывает, что в Москве, особенно поначалу, бывало ему очень нелегко, и он жаловался: ”Мой мрачный характер и абсолютное отсутствие подхалимства мне иногда мешают...” Поясним, это ”иногда” тянулось сквозь годы до полудня 16 февраля тридцать четвертого года, когда приготовились сделать ему очередное вливание глюкозы, но врач, приклонив ухо к его сердцу, поднял руку и сказал: не надо.

Бабель говорил, что мучительно-воспаленное лицо умирающего напомнило ему маску Бетховена.

Однако вернемся чуть назад, к вопросу об отношениях Эди с советской властью. Лев Славин однажды, когда мы сидели вдвоем у него в кабинете, сказал: "Для теперешних поколений Багрицкий — это "нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед". А между прочим, в девятнадцатом году, когда деникинцы вошли в Одессу, Эдя вошел вместе с ними, на белом коне. Его видели многие".

По тогдашним своим представлениям, я не мог поверить этому: "Еврей — и с деникинцами?" Славин пожал плечами: "Что вы удивляетесь? Во-первых, во всю гражданскую войну в Одессе, кажется, единственной на Украине, не было погромов: в Одессе была еврейская самооборона. Во-вторых, надо знать Эдю: он всю жизнь мечтал въехать на белом коне. И въехал".

Ну что ж, очень возможно, это было именно так: Эдя вместе с победителями, — правда, победителями на час, — въезжает на белом коне в родную Одессу. В те дни слишком далеко вперед не заглядывал никто: прожил день — и слава Богу. А если в этот день удалось еще взять реванш, — а пировать в стане победителей — это разве не взять реванш! — то и вдвойне хорошо.

Не знаю, какие отношения сложились у поэта Багрицкого с деникинскими властями в тогдашней Одессе, однако в адепты Октября, ни по казенным, ни по частным воспоминаниям, его никак не записать. И "недурненькое сомненьице для советского поэта", который не знает, с кем ему быть, то ли с контрабандистами, которые везут "грудю наживы: коньяк, чулки и презервативы", то ли с дозорными из советского погранотряда, как видим, едва ли случайность или просто поэтическая вольность, тем более в юбилейную, десятую, годовщину Октября.

Не случайность, можно утверждать наверняка, и другое: страстный гимн поэта, — который, по словам друга его Катаева,

во всю свою жизнь ни разу не купался и, кажется, один-единственный раз оторвался от берега на какой-то паршивой лайбе, — Черному морю: "Ай, Черное море, Хорошее море!" Я далек от мысли доказывать, что была у Багрицкого какая-то сознательная "еврейская программа", тем более что в героях "Контрабандистов" обретаются греки "Янаки, Ставраки, папа Сатырос", однако в еврейских журналах тех или близких лет в изобилии печатались материалы о Северном Причерноморье, известном в иудейской средневековой литературе как страна Ханаан, о Черном море, в гомеровские времена море Ашкеназ, о еврейских купцах-рахданитах, "ведущих пути", которые в девятом-десятом столетиях, когда только складывалась Русь, держали в своих руках и средиземноморские дороги, и великий путь из варяг в греки:

Так бей же по жилам,
Кидайся в края,
Бездомная молодость,
Ярость моя!
Чтоб звездами сыпалась
Кровь человечья,
Чтоб выстрелом рваться
Вселенной навстречу,
Чтоб волн запевал
Оголтелый народ,
Чтоб злобная песня
Коверкала рот, —
И петь, задыхаясь,
На страшном просторе:
— Ай, Черное море,
Хорошее море!..

Нет, можно и не верить в голос предков, говорящих в нашей крови, но отделаться от ощущения, что поэт контрабан-

дистов — кровный потомок тех самых рахданитов, которые прокладывали свои дороги под парусами, ”что летят по светилам”, и диргемом, и саблей, и самой своей жизнью, — никак нельзя!

Путь Багрицкого к себе, хотя прожил он неполных сорок лет, был долог, ибо пролегал он не по прямой, между двух точек, а складывался из множества, как в лабиринте, отрезков. И, как в лабиринте, поэт блуждал, хотя и с широко раскрытыми глазами, но нередко был подобен скорее слепцу, нежели зрячему. Причем в слепца обращали его не внешние, чуждые и неподвластные ему силы, а привеченный, взалканный им самим нечистый дух, дибук, как говорят евреи, который всячески ловчился оторвать поэта от кровного его племени. Даже родная мать, типично еврейская мама, которая всю жизнь дрожала над своим дитятей и просила Бога, пусть ей достанутся все болячки сына, только бы ему было хорошо, порою, на свой женский лад, приходила в ужас, постигая всю меру его отступничества: ”Еврейские скисающие сливки”! Боже мой, восклицала старуха, когда он видел у нее скисшие сливки? ”Наши сливки всегда были самые свежие”.

Идеологи во все века — и большевистские идеологи, вопреки распространенному мнению, вовсе не пионеры в этом деле — норовили подменить человеческую психологию логикой и объявляли полученные в своих идеологических лабораториях ректифицированные добродетели истинными добродетелями. Путь к добродетелям расписывался в деталях, с указанием оптимальной скорости, продолжительности остановок и допустимых отклонений.

Советская власть как раз начала с того — рококо и болеро нам заменит ГОЭЛРО! — что стала разрабатывать рабочий, то есть с точным указанием времени, места и необходимого сырья, план переплавки гомо сапиенс в гомо советикус: столько-

то электричества, чугуна и стали, столько-то угля и нефти. Пролетарское литературоведение и пролетарская литературная критика, которые с не вполне еще оцененной страстью выполняли в своих колумбариях работу по переделке своеобразных писательских душ, распахивали настежь дверцы зловещих своих печей и рассыпались пред поэтом мелким бесом: товарищ Багрицкий, пожалуйста бриться!

Годы напролет, тяжело больной поэт упирался, отпихивался руками и ногами, а когда ворота колумбария стали распахивать уже не только люди, когда стала распахивать их сама мать-природа, внезапно, с непонятно откуда взявшейся силой, уперся в землю, так что не качнуть, не сдвинуть, и выдал на люди самую еврейскую, самую иудейскую из всех своих вещей, поэму — "Февраль".

Поэма была опубликована в тридцать шестом году и незадолго до войны, в сороковом, когда старомодный пиетет к усопшему взял на краткий миг верх на большевистской моралью: "лучше перебдеть, чем недобдеть!". С тех пор, без малого четверть века, до 1964 года, бдели как надо и поэма не только не печаталась, но и крайне редко упоминалась — либо вовсе не упоминалась — даже в пространных опусах о жизни и творчестве поэта, останки которого сопровождал к могиле отряд красных конников с шашками наголо.

Даже Андрей Синявский, известный теперь на весь мир Абрам Терц, который тогда еще не был Абрам Терц, в своем очерке "Эдуард Багрицкий", включенном в наиболее авторитетный свод русско-советского литературоведения, с высочайшим мастерством лощмана экстракласса обошел гибельный айсберг поэта — гибельный вдвойне: и по причине трубного его гласа во славу народовластия Февраля, и по причине басов его и трелей, извлеченных поэтом из бараньего рога, по имени шофар, как будто он засел где-то среди своих на Сионе, а не в проезде МХАТа в самом сердце Белокаменной.



В автобиографической заметке, хранящейся в архивах Института мировой литературы имени Горького, по ведомству Академии Наук СССР, Багрицкий писал о себе, что в начальные годы советской власти он еще не понимал прелести использования собственной биографии. А потом понял. И понял, как знаем мы нынче, настолько хорошо, что никак уже до конца жизни не мог отделаться от своей биографии, которая вся держалась на еврейском костяке.

Над поэмой "Февраль" поэт работал буквально до последнего своего вздоха. Человек отменного радушия и обходительности, который всю жизнь держал дверь настежь — заходи всякий, гостем будешь! — Багрицкий сделался крайне раздражительным и восклицал в адрес очередного визитера: "Зачем этот идиот ко мне ходит, не понимаю!.. Сиди и слушай его бред".

А сидеть и слушать было уже некогда — собственная биография требовала, чтобы последние недели, последние часы жизни были отданы ей безраздельно: поэт, уходя из жизни, не забудь сказать, для чего ты пришел сюда!

И вот, у гробового входа, отметя все случайное, убогое, отметя все грошовые расчеты-пересчеты, отшвырнув воспетого еще в юные годы чужого бога, Громовника-Перуна со всем его причтом и позднейшими преемниками во Трине, поэт со всего маху хватил по струнам своей лиры, так что все восемь зазвучали, как одна:

Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа!

Вот оно, сокровенное, нутряное, отныне и до века: иудейская гордость! И первая мысль, заветная мысль — о пращуре в длиннополом халате, со спадающими седой спиралью пейсами, с квадратной иудейской бородой, чтобы признал он, этот пращур, своего потомка "в детине, стоящем подобно башне

над летящими фарами и штыками грузовика, потрясшего полночь”!

И до этого были у поэта бородатые евреи — помните: Над колыбелью ржавые евреи Косых бород скрестили лезвия, — и странный, загадочный этот образ, косых бород лезвия, черпал свой смысл в обряде древних наших предков скрещивать в течение тридцати дней мечи или обнаженные шпаги у постели беременной. И хотя в обряде этом заключены были знаки силы и мужества, которые всю жизнь томили душу поэта, он, однако, тревожил здесь тени предков не для того, чтобы поклониться им, а для того, чтобы публично, на глазах у всего мира, оплевать их. Он так и говорил, не им, правда, но, с экскурсом в историю, их потомкам: Уйти? Уйду! Тем лучше! Наплевать!

Да откуда же это: наплевать? А оттуда, из самых глубин души, которая жаждала сравниться с предками, жаждала похвалы их, но, как говорится, кишка тонка — не тянул потомок на предков!

А хотелось, до того хотелось, что неумоготу было жить с этим хотением, которому не было утешения, так что только одно и оставалось — презреть своих мучителей, отвернуться от них и сработать на виду у всех гримасу презрения.

Эта игра в кошки-мышки поэта с самим собою, пусть не на все сто процентов, но на хорошую, как говорили на родной его Базарной улице, половину, была навязана ему буднями соцстроительства, которое — надо было быть круглым идиотом, чтобы не увидеть этого с самого начала! — пеклось не о выявлении национальной самобытности, а, напротив, чтоб легче и вернее было держать народ в единых расейских построках, неизбежно должно было подавлять эту самобытность. И делалось это, как известно, отнюдь не одними приказами да указами, куда даже слепой может без промашки ткнуть пальцем, а

утверждением памятного духа истинного пролетарского интернационализма, который пару десятилетий спустя сбросил наконец свою постылую маску в погромной атаке против беспачпортных бродяг-космополитов — врагов Отечества, Партии и Вождя.

Мечта о силе, пронесенная поэтом через всю его жизнь, неизменно, тоже во всю его жизнь, черпала свою энергию в двух великих страстях — жажде признания и жажде отмщения, отмщения за обиды, за боль, за кровь, за вековые унижения. Обрядясь в классовые пролетарские одежды, на которые в те годы была в Сов.России великая мода, поэт во весь голос, так чтобы услышала вся округа, вел "Разговор с сыном":

Вспомним о прошлом...

Слегка склонясь,

В красных рубашках,

В чуйках суконных

Ражие лабазники,

Утапывая грязь,

На чистом полотенце несут икону...

И матерой купчина сразмаху —

Хлоп

В грязь и жадно протягивает руки,

Обезьяна из чиновников крестит лоб,

Лезут приложиться свирепые старухи...

Пух из перин —

Как стая голубей...

Улица настежь распахнута...

И дикий

Вой над вселенной качается:

— Бей!

Бей! Бей жидов — спасай Россию! Священный этот клич не через барабанные перепонки — через каждую клеточку, через

каждый атом еврейского мальчика из Одессы вонзался в его душу, и уже никакие силы не могли изъять его оттуда. Он так и жил с ним, пока не пришла пора покинуть этот мир, жил, таясь, притворяясь, лицедействуя, но были моменты — Боже мой, у кого только их не было! — когда жажда отмщения, жажда победы подминала под себя постыльную мудрость Касриловки — не надо дразнить гоим, пусть все будет по-хорошему... — и пронзительный революционный фальцет прорывался своими, гортанными, звуками, с каленым в веках иудейским ”рры!”:

Там,
Где погром проходил, рыча,
Там,
Где лабазник дышал надсадно, —
Мы на широких несем плечах
Жажду победы и груз громадный!

По тогдашним этическим шаблонам, и воспоминания о погроме, и широкие плечи — широкие плечи могут быть только у пролетариата, у кого же еще! — и жажда победы, и груз громадный подходили под рубрику классового революционного самосознания. Приди кому-нибудь в голову усмотреть в ”Разговоре с сыном” еврейские мотивчики, поэт тут же мог бы встать в позу воителя-пролетария и прикрыться классовым щитом.

Нет, не этого жаждала иудейская Эдина душа: это был еще не открытый бой, не честная, с открытым забралом, эскапада — это была, как говорят в Одессе, дуля в кармане.

И только осенью тридцать третьего года — последней осенью его жизни — он решился наконец разбить оковы, которые сам же всю жизнь помогал навешивать на собственную душу, чтоб сподручнее было ему приковаться к чужим цепям, чужому стаду.

О смерть, о великая целительница, о великая освободительница, ты, одна лишь ты, дала поэту силу изречь заветное слово:

Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа!

”Я пишу поэму. Поэма эта о себе самом, о старом мире. Там почти все правда, все это со мной было”.

Шел я в больших сапогах, в зеленой
Засаленной гимнастерке, низко
Остриженный на военной службе,
Еще не отвыкший сутулить плечи —
Ротный ловчило, еврейский мальчик...

Еврей есть еврей, и если надо про себя самого сказать ”ротный ловчило”, ну что ж, надо так надо: скажем. Уже в самой этой необходимости, которая, как говорят гегельянцы-марксисты, будучи познанной, становится свободой, таится великий соблазн: больше нет нужды притворяться, нет нужды увешивать себя всякими цацками, чтобы не тыкали в тебя со всех сторон пальцами — во, еврейчик, жидок! — а можно — плевать, нравится это другим или не нравится — оставаться самим собою.

Но легко это сказать — оставаться самим собою! А что это значит на деле? А на деле, говорит герой ”Февраля”, альтер эго поэта Эдуарда Багрицкого, это значит поступать так, чтобы твои предки, если бы можно было поднять их из гробов, могли гордиться тобою, не только гордиться, но немножечко даже завидовать, ибо зависть, если только она не во зло, — это и есть высшее признание чужой, пусть даже кровных своих потомков, силы и превосходства. И герой от одной мысли об этом растет в собственных глазах, растет до размеров башни, чуть не подпертой штыками. Чуть? Нет, не чуть, а в самом

деле подпертой штыками, ибо чем же еще, если не штыками, может подпирать свои башни Революция!

У недавнего ротного ловчи́лы, еврейского мальчика, которого Февраль возвысил до размеров башни, была в свое время зазноба, гимназисточка. Ну на что мог рассчитывать сутулый мальчик, привыкший корпеть над толстыми книгами своих пращуров, объяснять не приходится. Однако любовь есть любовь, с любовью, как известно, не шутят. И вот какая приключилась история:

Я вздрогнул.
Звонок телефона
Скрежетнул у самого уха...
— Комиссар? Я. Что вам?
И голос, запря́танный в трубке,
Рассказал мне, что на Ришельевской
В чайном домике генеральши Клеменц...

Бекицер, в чайном домике генеральши Клеменц, где ”воздух был пропитан душистой пудрой, человечьим семенем и сладкой одурью ликера”, находился бардак:

В третьей комнате нас встретил парень
В голубых кальсонах и фуфайке.
Он стоял, расставив ноги прочно,
Медленно покачиваясь торсом
И помахивая, как перчаткой,
Браунингом... Он мигнул нам глазом:
— Ой! Здесь целый флот! Из этой пушки
Всех не перекоцаешь. Я сдался...

В этой комнате, где воздух, как во всем домике бандерши, генеральши Клеменц, был пропитан душистой пудрой, спермой и ликером, нашел герой свою зазнобу:

Не раздвинув губ она сказала:
— Пожалей меня! Не надо денег...
Я швырнул ей деньги.

Я ввалился,
Не стянув сапог, не сняв кобуры,
Не расстегивая гимнастерки,
Прямо в омут пуха, в одеяло,
Под которым бились и вздыхали
Все мои предшественники, — в темный
Неразборчивый поток видений,
Выкриков, развязанных движений,
Мрака и неистового света...

И это все? Ради этого, ради того, чтобы кто-то, у кого наболело в кошонке, набрякли тестис, мог ослобониться от зубной боли промеж ног, перевертываются миры?

Не торопитесь, не спешите поперед бабки в пекло: не ради этого. И цель у мировых переворотов, которые все свершаются по воле Провидения, иная:

Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков,
За случайной птицы щебетанье!
Я беру тебя, как мшенье миру,
Из которого не мог я выйти!
Принимай меня в пустые недра,
Где трава не может завязаться, —
Может быть, мое ночное семя
Оплодотворит твою пустыню.

Национал-большевик, комсомольский заводила Куняев в статье своей "Легенда и время" определил Багрицкого как

”единственного и законченного в своем развитии в нашей поэзии поэта открытого романтического, идеального сионизма”, который в поэме ”Февраль” выблевал мерзостные свои откровения через главного героя, превратившегося ”из гадкого утенка в каркающего (не забудь, читатель, жидовского ”рры”! — А.Л.) орла революции”. Этот герой при ликвидации подпольного бардака ”встречает в числе проституток гимназистку, по которой он вздыхал всю свою юность, и наконец-то с жадностью ее насилует как победитель”. Это ли не символ насилия над святой Русью! Это ли не торжество жидовской идеи мессианства!

Добро бы это было так, но, увы, как можно сказать ”так”, если в самом деле ”не так”. Прежде всего: при чем здесь насилие и мессианство? Верно, герой ”Февраля”, иудей, берет нееврейскую женщину, блядь, проститутку, и предается мечте (опять мечта!) оплодотворить ее. Но разве блядь, тем более бесплодная, ”где трава не может завязаться”, может быть символом России! Это во-первых. Во-вторых, в поэме нет никаких указаний, что она, эта блядь, русского племени. А в-третьих, никто ее не насилует, напротив, поступают с ней, как и надлежит поступать с бабой в бардаке, то есть платят ей, но она то как раз не хочет денег, она хочет дать так, без денег, как бы по любви, а герой не хочет, потому что, пусть она торгует собою, это ее воля, а он торговать своей мечтой не желает.

Так спрашивается: где же насилие жидов над Русью, где же оплодотворение Руси жидовским их семенем, которое воспевает иудейско-мессианский поэт Дзюбин-Багрицкий!

Теоретизируя, особенно в ключе модной нынче на Руси национал-большевистской философии, можно допустить, что поэт, который, с одной стороны, всю жизнь таил про себя ненависть к погромщикам, а с другой — терзаем был комплексом вины перед своим племенем за постоянное, притом пуб-

личное, отступничество, мог в своей жажде мщения, в жажде восстановить свою честь в собственных глазах, дойти и до идеи изнасиловать бабу из вражьего стана и заставить ее понести от себя, иудея, в веках отвергнутого, униженного.

Но идея идеей, а жизнь жизнью. И, как известно, идея превращается жизнью, а не наоборот. А что было в жизни, поэт сам рассказал Федору Левину, критику, сотруднику издательства, который пришел к нему подписывать договор на издание поэмы: "Все это со мной так и происходило, как я пишу, — и гимназистка эта, и обыск. Я тут совсем немного приврал, — смеялся Багрицкий. — Но это нужно для замысла. Во-первых, в этом доме бандитов, которых мы искали, на самом-то деле не оказалось. А во-вторых, когда я увидел эту гимназистку, в которую я был влюблен, которая стала офицерской проституткой, то в поэме я выгоняю всех и лезу к ней на кровать. Это, так сказать, разрыв с прошлым, расплата с ним. А на самом-то деле (то есть, в-третьих, — А.Л.) я очень растерялся и сконфузился и не знал, как бы скорее уйти. Вот и все".

Эта история, читатель, напоминает мне другую историю, которая произошла с гражданином Карапетяном из города Еревана. Прошел слух, что гражданин Карапетян выиграл автомашину "Москвич" в лотерее. В связи с этим к нему обратилось армянское радио: "Правда ли, что вы выиграли автомашину "Москвич" в лотерее?" Гражданин Карапетян ответил: "Правда. Но, во-первых, не "Москвич", а три рубля. Во-вторых, не в лотерее, а в преферанс. И в-третьих, не выиграл а проиграл".

Нет, хочется нам того или не хочется, поэт Багрицкий в мессии не годится. Больше того, пусть в последние годы он ступал по жизни, оборотясь лицом к своему племени, а не спиной, как в былые времена, однако полная иудейская идентификация, такая, к примеру, как у друга его Исаака

Бабеля, оставалась уделом будущего, хотя автор "Конармии", талмудист, внук раввина, как помним, и сравнил его, посмертно, с бен-Акибой. Очень возможно, что у Бабеля были для этого сравнения свои мотивы, кроме тех, о которых был разговор выше. Однако поэт — это прежде всего его стихи, а потом уже все остальные слова, которые он сказал или хотел сказать своим знакомым и друзьям.

С этой точки зрения, никак, конечно, нельзя ставить на одну доску Багрицкого-героя "Февраля" и Багрицкого, который был просто мечтатель из Одессы, ибо биографии, как мы уже знаем, у них весьма различаются: первого нынешние ревнители России объявили трубадуром сионизма и мессианства, а второй, как видно из его собственного рассказа, обыкновенный еврейский шлимазл.

Но даже при всем том, даже без проверки идей жизнью в поэме есть одна яркая, очень яркая и выразительная картина, где герой, недавний "ротный ловчило, еврейский мальчик", а теперь комиссар, делает облаву на других героев, тоже евреев, про которых ему дали знать наводчики, пожелавшие остаться анонимами, очень возможно, тоже евреи:

...на Ришельевской

В чайном домике генеральши Клеменц,
Соберутся Семка Рабинович,
Петька Камбала и Моня Бриллианщик, —
Железнодорожные громилы,
Кинематографические герои, —
Бандиты с чемоданчиками, в которых
Алмазные сверла и пилы,
Сигарета с дурманом для соседа...
Они летали по вагонным крышам,
В крылатках, раздуваемых бурей,
С револьвером в рукаве фрака,

Обнимали сторублевых гурий,
И нынче у генеральши Клеменц —
Им будет крышка.

Баста!

Как видим, в борьбе за новую Россию — напоминаем, не большевистскую, а демократическую, февральскую Россию, когда и у самих большевиков не было еще в мыслях никакого Октября, — герой, о коем сегодняшний московский михаил-архангеловец твердит, что он норовил осеменить Расею своим паскудным иудейским семенем, идет на своих же, Семку Рабиновича, Моньку Бриллианщика, которые, что называется, родные братья бабелевскому Бенциону Крику. Даже имя у одного из них — Моня, то есть Моисей, — не менее емкое, чем Бенцион — "сын Сиона". А насчет фамилии "Рабинович", как говорится, вообще нема чего объяснять: помните, один еврей с такой фамилией даже не выдержал и взял себе псевдоним — "Хаймович".

Так вот, поскольку зашел разговор за бабелевского Беню Крика, как тут не спросить себя: почему Бабель выбрал себе роль биографа еврейского Короля, а Багрицкий про родных братьев Короля, то есть принцев королевской крови, рассказывает так, как будто они простые бандиты со своими сторублевыми блядьми и затрушенными шалманами? А потому, повторяем мы, что Багрицкий, при всей своей романтической тяге, даже в поэме "Февраль" не смог перетащить себя целиком, со всеми своими фантазмагорическими бебехами в иудейский стан, где было у него законное место по рождению.

Конечно, в этом, как сказано выше, советская власть имеет свою особую заслугу, ибо умеет-таки заставить всех этих "инженеров человеческих душ" посчитаться с ее вкусами, — не говоря уже о том, что 33-ий год, когда писался "Февраль", не 23-ий, когда Бабель писал своего Беню! — но, с другой сто-

роны, нельзя же забыть, что тенденция оторваться от своих была у Багрицкого, когда на Руси держал власть еще царь-батюшка и чужие свирели влекли его слух, чужие герои пленили его ум, чужие боги ввергали его в поэтический экстаз.

”Околицей брел я, Пути изменял, Мечта — и нога заплеталась о ногу...” Заплеталась, и еще как заплеталась! Заплеталась до самых последних дней, когда и ступать по земле было уже не под силу, а оставалось лишь перебирать ногами на койке, которая обернулась смертным ложем. И вознести одного еврея, своего двойника, свое альтер эго мог он лишь за счет других евреев, которые, как и у Бабеля, ”романтики с большой дороги”, но лишённые самого главного — еврейской мудрости, еврейской печали, еврейской вековой тяги к справедливости. И потому, хотя они ”кинематографические герои”, хотя ”они летали по вагонным крышам, в крылатках, раздуваемых бурей”, хотя они одеты, как джентльмены, во фраки, ”с револьвером в рукаве”, они не радуют еврейского глаза, не улаживают еврейского сердца, не тешат еврейской гордости.

Но, с другой стороны, если хорошо подумать, разве мало нам того, что еврей, который всю жизнь воевал со своим еврейством и поносил его так, что даже гоим чувствовали неловкость, оставил нам свою песню песней: ”Моя иудейская гордость пела”! И разве не он, этот еврей, уже на смертном одре своем, произнес полные сыновней любви слова: ”Мой родительский дом светился язычками свечей и библейской кухней”! И разве не о нем сказали враги его: ”Он обрел язык для слов мести и проклятий”!

И кто может взять на себя смелость утверждать, что, если бы хватило у него дыхания еще на несколько слов, не сказал бы он те — главные — слова из псалмов прапращура его, которые обнимают все другие его слова и все дела его жизни: ”Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем”.



РЫЖИЙ МОТЭЛЕ

Есть на свете такой город: Хинганск. Точнее, теперь он называется Хинганск, а когда-то, при царе Николае, он назывался просто Хинган и был скорее не город, а так себе, станция на Китайско-Восточной железной дороге, КВЖД. Той самой КВЖД, концессию на которую до самой Китайской стены, с направлением на Пекин, русские получили в 1900 году, когда утоплены были в собственной крови косоглазые, поднявшие знаменитое боксерское восстание против чужеземцев.

Командующим международным экспедиционным корпусом для борьбы с косоглазыми повстанцами был назначен германский фельдмаршал Вальдерзее, и кайзер Вильгельм Второй строго наказал ему учинить в Поднебесной такую расправу, чтобы косоглазые запомнили германское имя, как в свое время Европа запомнила имя гуннов и их предводителя Аттилы. Однако еще до прибытия фельдмаршала в Китай русский генерал Линевиц дошел до Пекина, причем в таком темпе, что властители Поднебесной едва успели бежать в Сианьфу, тоже китайский город, и фактически, как говорят бывалые люди, игра была сделана.

Да, так к чему мы об этом вспомнили? Ага, вот к чему: так вот, после того как русские получили концессию на КВЖД, там понадобились люди, которые хорошо знали железнодорожное хозяйство и могли сослужить службу батюшке-царю. Среди таких людей оказался и некий Уткин, еврей, со своей женой Раисой Абрамовной и чуть не полдюжиной детей, к которым там же, в Хингане, прибавлялись новые дети. В числе этих детей, с мая 1903 года, был мальчик, по имени Иосиф.

Был этот Иосиф ребенок такой редкой красоты, что немного позднее, когда папа с мамой и всей мешпохой решили переехать в Иркутск, по дороге им встретилась старая рус-

ская барыня, генеральша, которая была настолько поражена библейской красотой мальчика, что предложила тут же усыновить его. Словом, чуть не повторилась знаменитая библейская история, когда богатая женщина, тоже барыня, потому что она была дочь египетского фараона, усыновила прекрасного младенца, по имени Моисей.

В этот раз, однако, сложилось по-другому. Бедная еврейская мама, хотя у нее было много детей, не пожелала отдать свое дитя никому, даже русской барыне, даже, как сказала она сама этой барыне, "такой королеве, как вы".

Как должна была дальше сложиться жизнь у мальчика, который, что называется, с колыбели сподобился такого интереса со стороны людей? Кем можно было ожидать, он станет, этот мальчик? Наверняка можно было ожидать, что он станет большим человеком.

Годы спустя, когда мальчику справили уже бар-мицву, эти слова повторил старый учитель музыки. Он повторил их там же, в холодном сибирском городе Иркутске, когда мать привела сына, который сам заработал себе на скрипку: "Из мальчика, — сказал старый клезмер, — несомненно, вышел бы второй Паганини, но в тринадцать лет начинать на скрипача уже поздно. Но ничего — это видно — не надо горевать, из мальчика все равно выйдет большой человек".

Но что значит большой человек? Большой человек — растяжимое понятие. Один римлянин, когда ему стукнуло тридцать три года, увидев в храме статую одного грека, тяжело вздохнул: "Еще ничего не сделано для бессмертия, а он в мои годы уже покори́л мир". Этот римлянин, который тяжело вздохнул, был Юлий Цезарь, кстати относившийся к евреям так, что дай Бог бы всем там относиться. А грек был Александр Македонский, который тоже имеет среди евреев хорошую репутацию, поскольку в споре евреев с самаритянами

агитки хламовые.

И бард поет,

для сходства с Байроном

на русский

на язык

прихрамывая.

Кстати, с Байроном сравнивал его и другой поэт: Багрицкий. Однако сравнивал, как рассказывают, с оттенком восхищения и даже легкой зависти: "Он держится, как Байрон. Как лорд. Это хорошо. Поэт должен быть таким..."

Самое занятное, что человек, который, как говорят лошадики, по екстерьеру своему, давал повод вспоминать лорда Байрона, имел в своем активе годы блатной или полублатной жизни. Когда папа бросил семью, а старшего брата отправили на фронт, он пошел маркером в биллиардную иркутского "Гранд-отеля", прирабатывать на кусок хлеба в помощь матери. Ну, можно себе представить, чего только не пришлось повидать еврейскому мальчику, который мечтал играть на скрипке, в номерах гостиницы, где постояльцами были и купцы-миллионщики, и петербургские чиновники по особым поручениям, и барышники, и маклеры, и шулера, и прямые убийцы с сибирского тракта. И, хотя после столыпинских реформ прибавилось в Сибири великороссов и малороссов, однако же двинулись сюда в большом числе и всякие инородцы, и среди них, конечно, лица иудейского вероисповедания.

О лицах иудейского вероисповедания мы говорим особо по той причине, что именно в их компании будущий автор "Рыжего Мотэла" мог найти и золотой и алтын, которыми пересыпана чуть не каждая строка поэмы.

В пятнадцать лет, когда Октябрь докатился и до таежной Сибири, вместе со старшим братом Александром он записался в рабочую дружину. Драться, лезть в самое пекло – это у него

было в крови, от матери, которая еще в старые годы помогала ссыльным доставать паспорта: "Царь Николай не разрешает вам уехать, а я, иркутская жидовка, разрешаю".

В мае двадцатого года один из первых иркутских комсомольцев, как подчеркивают его советские биографы, он отправился добровольцем на Дальневосточный фронт. В этом мае, напоминаем, ему исполнилось как раз семнадцать лет — самый возраст переделывать миры. "В армии, — сообщает он в своей хранящейся в архивах автобиографии, — я был на разной работе: полевым информатором, трижды военком маршевых рот, военком армейского конского запаса и ремонтных мастерских..."

Два года спустя недавний "военком маршевых рот, военком армейского конского запаса" становится репортером иркутской газеты "Власть труда", где пишет обо всем, что попадает под руку — о беспризорных, о нэпе, об авиации, о религии — и один, как целая пекарня, печет сатирические куплеты и частушки, за подписью "Утя".

Вся эта продукция, как говорил один одесский еврей, "не стоила выеденное яйцо". И вдруг, еще через два года, на третий, как снег на голову, как гром среди ясного неба, — да что там снег, что там гром: двести тысяч в лотерею, как могло быть только в старое время! — "Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исaе и комиссаре Блох":

— Это прямо наказание!

Вы слышали?

Хаим Бэз

Делать сыну обрезанье

Отказался

Наотрез.

Первый случай в Кишиневе!

Что придумал, сукин сын?!

Говорит:
— До-воль-но кро-ви,
Ува-жае-мый рав-вин!!!

Москва, имеется в виду литературная Москва, была положена на обе лопатки каким-то иркутским евреем, с птичьим именем Уткин. В трамвае, на улице, в столовой, в редакциях — цитировали наперебой:

В очереди
Люди
Ахают,
Ахают и жмут:
— Почему
Не дают
Сахару?
Сахару почему не дают?

Видимо,
Выдать
Лень ему.
Трудно заняться час?

Такую бы жизнь — Ленину,
Хорошую,
Как у нас!

И человеку не дают окончить, что называется, вырывают буквально изо рта и продолжают сами:

— Что вы стоите,
Сарра?
Что может дать
Слепой,

Когда
Комиссаром
Какой-то
Портной?

Лиля Брик вспоминает: с вечера во Вхутемасе, где Уткин впервые публично читал своего "Мотэле", Маяковский "пришел домой возбужденный и не успокоился до тех пор, пока и мы его ("Мотэле") не узнали". Ну, для Маяковского это было в первую голову явление нового добытчика радия поэзии, нового забулдыги-подмастерья. А для простых смертных история рыжего Мотэле — это был кусок их собственной жизни. И не только для евреев — вся Россия в те дни исходила в проклятьях: "Такую бы жизнь — Ленину, хорошую, как у нас!" — но в первую очередь, конечно, для евреев, ибо история Мотэле — это история еврейского портняжки, который после Октября семнадцатого года вдруг заделался важной птицей: комиссаром!

Как это могло получиться, что маленький рыжий Мотэле, который всю жизнь "работал за двоих" и "ставил десять заплаток на один жилет", выскочил в большевистские комиссары, никаких объяснений автор не дает. Просто в главе второй, "Кишиневские чудеса", читателю подносят уже вполне готовое, прямо из духовки, "чудо первое":

Мэд
На базаре
Волнуется.
И не Мэд,
Весь
Ряд:
На вокзал
По улице

Прошел
Отряд...
Но не к этому
Доводы,
Главное (чтоб он сдох!)
В отряде
С могоендовидом
Мотька Блох!

Идет по главной улице,
Как генерал на парад.
И Мэд на базаре волнуется,
И волнуется
Весь ряд.

Про Мэд, чтобы читатель не ломал себе голову, следует сразу объяснить, что это была просто базарная торговка. Впрочем, просто, да не просто, ибо базарная торговка в тогдашнем Кишиневе — это телеграф, это радио, а телеграф и радио, как известно, самый быстрый вид связи. И через минуту уже весь Кишинев, а Кишинев — это самый главный и самый большой город на всю Бессарабию, знал, что Мотька Блох, с могоендовидом, во главе отряда протопал на вокзал.

Тут надобно заметить, в первых четырех изданиях автор не считал нужным давать никаких объяснений, почему большевистский комиссар, как будто он какой-нибудь сионист, появляется во главе отряда, середь бела дня, с могоендовидом на груди. А в пятом издании своей "Первой книги стихов", в тридцать первом году, как раз сразу после знаменитого Шестнадцатого съезда партии, который ударил, от океана до океана, в набат — бей крестьян! бей интеллигента! бей инородцев-националистов! — автор, сам тоже из инородцев, дал пояснение к слову "могоендовид": "Знак царя Да-

вида, шестиконечная звезда, которую обыватели путали с коммунистической”.

Самое удивительное, что пояснение это не только не пролило свет на щекотливый вопрос, почему большевистский комиссар украсил себя могоендовидом, а внесло дополнительно еще некую двусмысленность: получалось, вроде бы у Мотьки Блоха была звезда-то правильная, коммунистическая, то есть о пяти концах, а это кишиневские обыватели, по темноте своей, добавили ей шестой конец — и получился могоендовид.

Но, Боже мой, надо же быть полным идиотом, чтобы поверить, будто еврей, а тем более кишиневский еврей, неспособен был отличить пятиконечной звезды большевиков от шестиконечной звезды Давида, которая сопровождала его всю жизнь, от люльки, от лохани, где он лежал завернутый в пеленки, до гробой доски, куда его клали, запеленутого в тахрихим, еврейский саван!

Но факт есть факт, и от него никуда не уйдешь: поэт Уткин, когда время потребовало, предпочел сам прикинуться дурачком и других представить дураками, лишь бы не заподозрили — ну, заподозрить это еще с полбебды, а ведь могли и полный баланс подвести! — будто большевистский комиссар, хотя бы в прошлом и паршивый латочник, мог нацепить могоендовид.

Но в двадцать четвертом, когда писалась поэма, сибирскому бохеру, да к тому же рожденному чуть не в Китае, эти хитрости, эти еврейские штучки даже не приходили в голову, — как виделось, как слышалось, так и писалось:

Но не к этому
Доводы,
Главное (чтоб он сдох!)
В отряде
С могоендовидом
Мотька Блох!

Да и как могло быть иначе, если

(Это, правда, давнее,
Но и о давнем
Не умолчишь.)
По пятницам
Мотэле давнэл,
А по субботам
Ел фиш.

Что такое "давнэл" и что такое "фиш", в те годы не только евреям, но даже неевреям объяснить не надо было: "давн" – все знали – это молиться, а "фиш" – это фиш, гефильте фиш.

Где проходил свою школу политграмоты рыжий Мотэле? Там, где проходили ее все капцаны-евреи "до без царя и немного после":

И дед и отец работали:
А чем он лучше других?
И маленький рыжий Мотэле
Работал
За двоих.

Чего хотел, не дали.
(Но мечты его с ним!)
Думал учиться в хедере,
А сделали –
Портным.
– Так что же?
Прикажете плакать?
Нет так нет! –
И он ставил десять заплаток
На один жилет.

Зададим себе один пустяковый вопрос: кому мешал этот капцан-шнаyderл, кому стал поперек горла этот несчастный еврейский портняжка, который, как проклятый, с утра до вечера гнул спину, чтобы в пятницу – в пятницу, это по-ихнему, а по-нашему, это уже в субботу – вечером можно было пойти в синагогу сказать пару слов Богу, а в шабес можно было съесть кусочек фаршированной рыбы? Неужели могли найтись на свете люди, завидовавшие этому еврейскому счастью, по сравнению с которым последний нищий у церковной паперти – это почти Крез!

Представьте себе, не только могли, но и нашлись, и не где-нибудь в диком, заброшенном тридевятом царстве, тридесятом государстве, где живут люди с песьими головами, а в самой России, в Бессарабской губернии, в городе Кишиневе, который такой город – такой город! – что только одна Одеса лучше него:

Но Мотэле жил в Кишиневе,
Где много городовых,
Где много молебнов спето
По царской родовой,
Где жил... господин... инспектор
С красивой бородой...
Трудно сказать про омут,
А омут стоит
у рта:
Всего...
Два...
Погрома...
И Мотэле
Стал сирота.

Про кишиневский погром 1903 года говорено столько, что

добавлять нема чего. Наоборот, надо немножко даже убавить. Люди думают, что там перерезали столько евреев, что пальцев на обеих руках и ногах не хватит, чтобы посчитать, сколько сотен. А на самом деле хватит, и еще лишние останутся: убитых было немножко больше чем полсотни человек, а изувеченных, покалеченных, с перебитыми руками и ногами немножко больше полтысячи человек. Некоторые из покалеченных отдали потом, правда, Богу душу, но уже не на улице, не в лавке, а в больнице, где за ними наблюдали доктора. А это, как говорится, совсем другой компот: если человек помирает в больнице, значит, люди здесь уже ни при чем, а при чем здесь — Бог.

Но зато, с другой стороны, какой прибыток имели евреи — и не только кишиневские, бессарабские, а евреи целой Российской империи, которая по размерам была и остается такая, что другой такой во всем мире нету, — от кишиневского погрома! Когда Шолом-Алейхем объявил, что хочет издать сборник в помощь жертвам кишиневского погрома, то сам Лев Толстой откликнулся и сделал презент — знаменитый рассказ "После бала". А вы говорите!

Но, во-первых, это произошло уже позже, а во-вторых, даже позже рыжий Мотэле все равно об этом ничего не знал и, таким образом, никакой компенсации, ни материальной, ни моральной, за своих папу и маму не имел.

— Так что же?
Прикажете плакать?!
Нет так нет! —
И он ставил заплату
Вместо брюк
На жилет.

Да, чтобы не забыть, еще пару слов о кишиневском погроме. Владимир Жаботинский, который был такой сильный, такой

порывистый человек, что некоторые враги даже хотели приклеить ему ярлык "еврейского фашиста", в те годы — он жил тогда еще в своей обожаемой Одессе — сказал: "...в погромах есть ведра крови и пуды человеческого мяса, но нет в них для еврейского сознания того сокрытого урока — mussar Elohim, который возвысил бы их до степени трагедии. В трагедии обязательно должна содержаться некая неведомая правда, новое слово, которое познается в этих муках и открывает народу новые пути. А что и кому из нас открыли эти погромы, кого из нас и чему могли научить? Только кишиневская резня сыграла крупную роль в нашем общественном сознании, потому что мы тогда обратили внимание на еврейскую трусость".

Что тут спорить: попробуйте сказать нет, когда — да. Да, была трусость, да, позволили резать себя как баранов, позволили скотам с бычьими кровавыми глазами потрошить свои жилища, свое добро, как будто все это упало само с неба, а не заработано своими мозолями, вынесено на своем тысяче-летнем горбу!

И конечно, не надо быть большим умником, чтобы угадать, какое настроение было у евреев в тот день, когда Февраль семнадцатого года сказал им: отныне вы — как все люди России, отныне вас нельзя резать, нельзя потрошить, отныне вы полноправные граждане.

Этот день был таким новым.
Молодым, как заря!
Первый раз тогда в Кишиневе
Пели не про царя!

А что рыжий Мотэле? А Мотэле гопал и бил в ладоши:

Брюки,
Жилетки,
Смейтесь!

Радуйтесь дню моему:
Гос-по-дин по-лиц-мейстер
Сел
В тюрьму!
.....
Редкое, мудрое слово
Сказал сапожник Илья:
— Мотэле, тут ни при чем Егова,
А при чем — ты
И я.

Что скинули Николку, который весь был в своего папу царя Александра Третьего, — помните его знаменитые слова в погром 1882 года: "А я сам, признаться, рад, когда бьют евреев!" — все евреи или почти все были согласны: это хорошо.

А насчет Еговы, при чем он тут или ни при чем, у евреев единодушия не было. Как говорят на Руси, кто в лес, кто по дрова:

И дни затараторили,
Как торговка Мэд.
И евреи спорили:
"Да" или "нет"?
Так открыли многое
Мудрые слова.
Стала синагогою
Любая голова.

Но если стала синагогою любая голова, то Мотэле стал целый синедрион, хотя — и это тоже не пустяк! — "Мотэле выбрил пейсы, снял лапсердак".

Естественно, еврей, который выбрил пейсы и снял лапсердак, уже одним этим стал, если не целиком, то, по крайней

мере, наполовину гоем. И сравнение с синедрионом, то есть собранием еврейских мудрецов, которого мы удостоили его, следует понимать лишь в том смысле, что Мотэле принял тогда самое умное и самое выгодное для себя решение – податься в начальство:

Мотэле весь перекроен
(Попробовал лучший суп!) :
Мотэле смотрит
”В корень”
И говорит:
– По су-ще-ству.

Новые времена – новые песни. Но кто может указать пальцем: вот здесь кончилось старое время, а здесь началось новое; вот здесь кончились старые песни, а здесь начались новые. И кто, даже если свергли царя, даже если царю уже сшили тах-рихим, может наверняка сказать: царь не восстанет из мертвых, революция не обратится в падаль!

И у господина инспектора Боброва, который в старое время, ”до без царя”, даже чихнуть в сторону Мотэле Блоха и то считал бы слишком большой честью для жидка, день и ночь нынче пухнет голова от мыслей о Мотьке и мотьках:

Дай Бог
Жене здоровья,
Дай Бог
Хворобы Блоху...
.....
Дай Бог сгореть Советам,
Провалиться депутатам...
Зиму смени
На лето,
Выпрями то,

Что смято...
Дай Бог и то и это
(Многое дай Бог, понятно!)

Дай, дай, дай... Глупые люди, разве не вам было сказано: "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать"!

А господин инспектор Бобров – прости, Господи, дурака! – все-таки просит: "Выпрями". Ибо "разве думал инспектор Бобров, что когда-нибудь без погромов проблаженствует Кишинев?!"

Но что дурак Бобров: а сами-то евреи разобрались, что к добру, а что к худу! Что скинули царя, который из собственного кармана давал деньги сочинителям погромных листов, это, как было уже сказано, ха-ра-шо. Ну, а главное, самое главное – Революция? Не дураки же придумали, нельзя просить на лучшего царя:

В синагоге –
Шум и гам,
Гам и шум!
Все евреи по углам:
– Ш-ша!
– Шу-шу!

Выступает
Рэб Абрум.
В синагоге –
Гам и шум,
Гвалт!

.....
Рэб Абрум сказал:
– Бо-же мой! –

Евреи сказали:
— Беда! —
Рэб Абрум сказал:
— До-жи-ли!
Евреи сказали:
— Да.

.....
А раввин сидел
И охал
Тихо, скромно,
А потом сказал:
— Пло-ха! —
Сказал и вспомнил
Блоха.

О! Оказывается, это только со стороны, если смотреть глазами гоя, евреи — одно целое. А на самом деле еврей еврею рознь: что одному хорошо, то другому плохо. И наоборот: что одному плохо, то другому хорошо.

Почему раввин Исаяя вспомнил Мотьку Блоха? Потому что раввин Исаяя, который был "так мудр! так мудр!", что почти наизусть знал почти весь Талмуд, хорошо понимал: "Радостный путь немногим, не всем, как компот: одни ломают ноги, другие — наоборот".

И разве можно забыть, чему учили нас предки наши, которые видели всю историю наперед: "Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников..." (Притчи, 28:2). А главный закон жизни, с тех пор как появились начальники, говорит ясно: "Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак". Короче, вот вам мысли, слова и гешефт раввина Исаяи, у которого была дочка Рива, в прежнее время почти принцесса, так что Мотэле мог только украдкой бросить на нее

взгляд и вздыхать по ночам, а теперь, — кто бы поверить этому мог? — ”перепутались мышцы, двери, перепутались нитки дорог”, и раввин решается на отчаянный шаг:

Надо куда-то деться:

— К черту!

— К небесам!

— До вас небольшое дельце,

Товарищ комиссар.

У каждого еврея

Должны дочери быть.

И каждому еврею

Надо скорее

Своих

Дочерей сбыть...

Вы — мужчина красивый,

Скажемте:

Зять как зять.

Так почему моей Ривы

Вам бы

Не взять?

Отцу хвалить не годится,

Но, другим не в укор,

Скажу:

Моя девица —

Девица до сих пор.

Ну и как повел себя недавний Мотэле, а теперь товарищ комиссар Блох в ответ на это деловое предложение? Захлопал в ладоши, запрыгал на одной ноге от радости, предложил своему будущему ”папаше” присесть, выпить стопку бромфн, как водится у евреев, когда делается важное дело?

Нет, не ударил в ладоши, не запрыгал на одной ноге от радости, не предложил будущему "папаше", как водится у евреев, стопку бромфн. А что же? А ничего: Скажем больше, до самой последней строки своей поэмы автор вообще ни единым словом не обмолвился о личной жизни комиссара Блоха, как будто личная жизнь — это просто пара пустяков, а большевики не для того взяли власть, чтобы заниматься пустяками, а для того взяли...

Ну, сегодня уже не шестьдесят лет с гаком назад, сегодня уже не надо объяснять людям, для чего большевики взяли власть, сегодня люди сами знают: большевики взяли власть для того, чтобы иметь власть.

И Мотэле сидит день и ночь в сердитом кабинете, сидит как первый человек. И "нет так нет" — тысячелетнее еврейское "нет так нет", которым еврей наступал самому себе на горло, чтобы угодить мужику, угодить пану, угодить царю земному и Царю небесному, — здесь не услышишь. И господин инспектор Бобров — вы помните господина инспектора Боброва, который одной своей бородой нагонял страх на весь Кишинев! — выбрился, причем выбрился так, что "ахал в Кишиневе весь Кишинев", и устроился на хорошую службу — хорошая служба, чтоб они сгорели вместе со своими службами и своими порядками! — делопроизводителем в конторе Мотьки Блоха:

Так, окончательно сломан,
Робок, как никогда,
Инспектор
Пришел к портному,
Чтобы сказать:
"Да".

Но, как говорил Евсей Гавиноссер из Авчинниковского переулка в Одессе, где в 1906 году открыли контору по переезду

евреев Российской империи в Палестину, есть "да" и "да": одно "да" — это-таки "да", а другое "да" — это еще меньше, чем "нет".

Один говорит "да" с открытой душой — и можно ему верить на все сто процентов, а другой говорит "да" — и ему нельзя верить ни на грош.

И вот вам пример. Инспектор — бывший инспектор! — Бобров говорит "да", а на уме у него как раз наоборот:

Жутко: контроль на контроле.
Комиссия вот была...
Инспектор сидит и колет
"Текущие дела".
И... он мечгает — не больше
(Что же осталось ему?),
Как бы попасть
В Польшу
И не попасть
В тюрьму...

Теперь, по прошествии лет, мы уже точно знаем, что инспектору Боброву, хотя он пришел к советской власти и сказал "да", не попасть в тюрьму — и пусть еще скажет большое спасибо, что в тюрьму, а не на цвинтар, — не удалось. То есть именно этому Боброву, может быть, и удалось, но зато тысячам других — тысячам, это только так говорится, а на самом деле миллионам! — наверняка не удалось.

Но эти тысячи и миллионы складывались, конечно, не из одних Бобровых, а были среди них и Бобренко, и Бобридзе, и Бобряны, и Ага-Бобры, и, конечно, Бобреры.

Когда заварили кашу на весь мир, люди верили, что будет хорошо. Люди хотели, чтоб было хорошо. Но что значит: хочет человек?

Как будто дело в человеке!
Мы все, конечно, целый век
Желаем
Золотые реки.
Все жаждем сахар, так сказать,
А получается иначе:
Да, если хочешь
Хохотать,
То непременно
Плачешь.

И плакали люди, и еще как плакали! Так плакали и так плачут поднесть, что не просыхают слезы и кто знает, когда просохнут.

Но плачут, как известно, по-разному и умирают по-разному: одни — с криком, с воплями, раздирая на себе одежду; другие — тихо, покорно, без стопа, без звука, и только, если очень прислушаться, можно услышать, как слеза, скатившись со щеки, ударила о стол.

Ребе Исая больше не решает, что ему нужно и что ему не нужно. Что ему нужно — теперь решает за него советская власть. Ребе сидит с закрытыми глазами за столом и прислушивается, чтобы не прозевать собственной смерти:

Час кончины —
Он приходит
Тихо-тихо,
Не услышишь.
И уходит молча счастье,
И уходят
Мыши.
Только горе неизменно.
Заржавел пасхальный чайник!

.....

И совсем теперь не нужен
Ни Талмуд,
Ни брюки.
Тихо.
Сумрак нависает.
Не молитва
И не ужин...

А это, чей это сатанинский голос разрывает священную тишину?! Чьи проклятия сыплются на голову старого ребе: "Пусть по-новому, Исая, стол тебе послужит. А потом – к иному краю, в рай, конечно, не иначе..."

Тихо!
Свечи догорают.
Тихо.
Сарра плачет...

О поганные богохульники! Никчемные, невежественные люди: раввина они готовы уложить на стол, как будто обычай отцов для него – как для них! – пустой звук, глупая балаболка. Как будто он не еврей, как будто он какой-то гой, вроде этих мушемедов из райсовета!

О-о-о, время!
"Плохо"... "Хорошо"...
Оно и так
И этак вертит.
И если новым
Срок пришел,
То, значит, старым –
Время смерти...
Да, если новым срок пришел,
То, значит, старым –
Фэртиг...

Как говорил Козлет, Давидов сын: "Всеу свое время, и время всякой вещи под небом".

Но легко быть мудрым, если родился мудрым; легко быть мудрым, если твой папа был мудрым и при этом был еще царь. А если нет? А если нет, так, как говорили в Одессе, когда там еще можно было найти умного человека, таки хорошо плохо! То есть так плохо, что дальше уже некуда, и если не хочешь умирать, а хочешь жить, то остается одно из двух: либо верить в мессию, что, в конце концов, он придет и спасет, либо закрыть на все глаза и жить, пока живется.

Но верить в мессию или просто жить, пока живется, — для этого тоже нужны силы. А у ребе Исайи уже ни на что нет сил: революция и советская власть, хотя никто не отдавал ребе под суд, не устраивал над ним трибуналов, вынесли свой приговор, и среди уст, произнесших этот приговор, были и еврейские уста:

Чувствую, верна моя дорога
Под полетом поднятых знамен.
Если надобно, седую синагогу
Подпалю со всех сторон...

Эти слова произнес, правда, не уткинский Мотэле, а произнес их другой еврей, так называемый лирический герой Михаила Светлова, но в данном случае это не имеет принципиального значения, ибо и тот и другой имели за своей спиной Революцию, имели за своей спиной советскую власть, от имени которой они говорили.

И конечно, при этих условиях Мотэле смело смотрел вперед, ибо в угаре революции все, кто с революцией, смело смотрят вперед и, хотя на самом деле видят не дальше своего носа, уверяют себя и других, что будущее уже у них в кармане.

И Мотэле, у которого был такой нос, что всем носам нос, верил, как и все, что будущее уже у него в кармане:

Вот вам
И меньше и больше.
Каждому свой мессия!
Инспектору нужно Польшу,
Портному —
Россия.

.....
Не-ет, он шагал недаром
В ногу с тревожным веком.
И пусть он — не комиссаром,
Достаточно —
Че-ло-ве-ком!
Можно и без галопа
К месту приехать:
И Мотэле будет штопать
Наши прорехи.

Во, какое оно, наше будущее: шнайдерл Мотэле будет штопать наши прорехи! Самое, однако, поразительное, что он не только собирался штопать наши прорехи, но и в самом деле верил, что такая работа ему вполне под силу. Более того, был уверен, что Россия раз и навсегда выдала ему мандат на такую работу, ибо еще со времен пророков он точно знал, что такое, говоря сегодняшним языком, равенство, братство и свобода. И хотя мандат выдали ему большевики, такие безбожники, что вторых таких надо хорошо поискать, однако в глубине души не один и не два из них готовы были повторить слова своего врага, не просто врага, а — сам Ленин сто раз объяснял, какой он вредный и опасный! — антипода, Николая Бердяева: "...о еврейском народе, народе религиозного призвания, нужно судить по пророкам и апостолам".

И Мотэле — наивный человек! — поверил этому, поверил, что Россия действительно нуждается в нем, ибо это была уже не

та Россия, где пели про царя и вынимали из еврея душу, а новая Россия, которая без пяти минут была уже Союз Советских Социалистических Республик.

И портняжка, а вместе с ним миллион других портняжек сказали, показывая пальцем на советскую власть: "смотри, вот это новое". И забыли — ибо хотелось им забыть! — что сказал пращур их: "Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас" (Екклесиаст, 1:10).

Умным людям, конечно, не нужно объяснять, что речь здесь идет не о конкретной власти, о конкретном царстве-государстве, а о человеческих надеждах и ожиданиях, которые так поворачивают наши глаза и так настраивают наше сердце, что с языка нашего, который всегда рад поболтать, само срывается: "смотри, вот это новое". А "новое" в данном случае, это благо, это нечто хорошее, которое непременно, как верят люди, должно быть лучше того, что уже было.

И — кто поверит этому! — в те годы, когда не только позабыли слово "родина", а начисто изъяли его из обращения, заменив понятием "пролетарское отечество", поэт Иосиф Уткин вкупе со своим героем рыжим Мотэле употребляет, говоря о России, вышедшее, по воле революции, из моды слово "родина", предвосхищая грядущую поэтическую и политическую лексику советской власти, введенную в повседневный обиход самим Сталиным, нацменом по крови, который стал еще больше русским, чем некогда принцесса немка Софья Ангальт-Цербстская, известная под именем Екатерины Великой.

Воистину, неисповедимы пути Господни! И что же это за случай такой, коли поэт-еврей вместе со своим героем-евреем выбрали, как самое подходящее по данной оказии, слово "родина" применительно к России?

А случай этот не просто какой-нибудь случай, а особый, когда, можно сказать, люди решают самый главный вопрос своей

жизни: уехать, как уезжали до революции наши отцы и деды — например, в Америку — или оставаться навеки в России?

И что же? А вот что:

Сколько с ней было пройдено,
Будет еще пройдено!
Милая, светлая родина,
Свободная родина!
Золото хуже меди,
Если рукам верите...
И Мотэле
Не уедет,
И даже
В Америку.

Напоминаю, слова эти были сказаны более полувека назад, когда советская власть, по убеждению всяких жидоморов, была целиком жидовская власть. И тут, хотя сию минуту мы сами удивлялись патриотическому лексикону Мотэле — милая родина! светлая родина! свободная родина! — нельзя не спросить себя: если Мотэле сделался большим начальником и если ему было так хорошо, почему вообще зашел разговор, как будто это не пятьдесят лет назад, а сегодня, пятьдесят лет спустя, ехать или не ехать? Значит, были и тогда основания для такого вопроса, значит, советская власть, хотя она сулила золотые горы евреям, — впрочем, не только евреям, а всем нацменам вообще, — не снимала с повестки дня главного вопроса: оставаться с ней, советской властью в России, или, наоборот, быть подальше от нее?

Мотэле — устами своего биографа-поэта — дал тогда зарок, что "не уедет, и даже в Америку". Сегодня мы знаем, какова была цена этому зароку: если зейде Мотл вы не встретили на Брайтон Биче, значит, ищите его на улице бен-Иуды в Тель-Авиве. А если вы не встретите его ни там, ни там, значит, его расстреляли — или отправили куда-нибудь на Колыму,

какая разница! — либо в тридцать седьмом, либо в сорок восьмом, либо в пятьдесят втором. И его внуки, его зять — если он, конечно, не а ид а буденновец! — расскажут вам, как у зейде Мотл, бывшего красного комиссара, открылись в конце концов глаза на советскую власть, на лучшего друга евреев товарища Сталина, который на старости лет больше всего мечтал об одном: как бы завершить дело, которое не успел завершить Гитлер — добить, выморозить в Сибири три миллиона юден, чтобы днем с огнем нельзя было ни единого из их паскудного кодла сыскать на святой Руси.

А теперь поставим перед собой еще один вопрос: видел или не видел такие перспективы для своего Мотзле поэт Иосиф Уткин? Судя по истории с "могендовидом" — об этом был у нас разговор немножко выше, — и категорическому заявлению, что Мотзле, конечно же, не уедет из России никуда, "и даже в Америку", можно думать, что поэт Иосиф Уткин, который сам делал революцию и сам строил советскую власть, был все же не совсем слепой человек, ибо категорическое заявление, как показывает жизнь, нередко имеет цель скрыть, что в глубине души человек думает как раз наоборот. Возьмем пример: человек, хотя никто об этом его не спрашивает, становится на перекрестке и начинает кричать во всеуслышание, что он хочет работать так, задаром, что никаких наград и никаких денег ему не надо. Что можно думать про такого человека? Прежде всего можно думать: зачем, если человек действительно хочет работать задаром и ему не надо никаких денег, никаких наград, кричать об этом во всеуслышание? Во-первых, еще ничего не сделав, он фактически уже получает награду, потому что внимание людей — это, конечно, награда, и еще какая награда! А во-вторых, рекламируя свое бескорыстие, человек фактически требует за себя самую высокую цену, ибо в наши дни, замечено, ничто не стоит так дорого, как бескорыстие.

Иными словами, бывают в жизни ситуации, когда, чем громче, чем сильнее человек кричит "нет"!, тем меньше оснований верить ему. Конечно, это делается не обязательно из желания урвать кусок побольше или получить, как говорят практичные люди, навар. Иногда это делают просто из страха, просто из желания убедить кого-то сильного, — а советская власть, нравится это нам или не нравится, конечно, не слабая, — в своей преданности.

И вот теперь, разобравшись во всех этих хитрых тонкостях, поставим вопрос немножко по-другому: мог ли поэт Уткин найти иной способ, чтобы, с одной стороны, изобразить Мотэля таким горячим патриотом советской власти и России, что горячее уже просто не бывает, а с другой стороны, напомнить, что существует на свете Америка, и евреи про эту Америку продолжают думать, как думали их отцы и деды в старой России, "до без царя"? И не только про Америку, а и про другие страны и, конечно, в первую очередь Палестину.

Отвечаем: мог. Но еще большой вопрос, был бы ли этот иной способ лучше того, который выбрал поэт, хинганский еврей, прошедший такую школу жизни, что, несмотря на свою молодость, — напоминаем, ему минул двадцать один год, когда он написал своего "Мотэля", — был почти так же мудр, хотя, конечно, не так образован, как рабби Элеазар, сын Азарии, который в восемнадцать, а другие говорят, даже в шестнадцать, стал главой синедрона — высшего совета еврейских мудрецов.

Итак, нет оснований полагать, что поэт Иосиф Уткин, хотя в Иркутске он сделался чуть не первым комсомольцем, был слеп в отношении советской власти и России. Наоборот, есть все основания думать, что, несмотря на свою молодость, он был мудрый человек. А какая же мудрость может быть у еврейского бохера? У еврейского бохера, естественно, может быть еврейская мудрость.

И вот доказательство: все, что написал поэт Уткин, который, как мы уже знаем, всю жизнь одевался и держался, как лорд Байрон, в последующие двадцать лет, вплоть до рокового дня 13 ноября 1944 года, когда он погиб в авиационной катастрофе под Москвой, возвращаясь с фронта, не идет ни в какое сравнение с "Рыжим Мотэле".

Илья Сельвинский сказал в те трагические дни: "Если бы Уткин ничего больше не написал, кроме этой поэмы, то и тогда он завоевал бы себе право на прочное место в советской поэзии". С этими словами можно вполне согласиться, сделав одну небольшую поправку: если бы Уткин написал все, что он написал, кроме этой поэмы, он бы занял в поэзии такое же место, как сотни и тысячи других советских поэтов, которые, изведя горы бумаги, оставили свое имя и свои стихи единственно для хацпетовских диссертантов.

Но "Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исае и комиссаре Блох", как было уже сказано, писал, при всех революционных ее аксессуарах, не советский поэт, а еврейский бохер, который к своей бар-мицве должен был, пусть не чересчур, но в меру, понатореть и в Священном Писании, и по части еврейских обрядов и, конечно, пусть не самому написать, но хотя бы прочитав, что написали другие, на языке идиш, который в те годы был еще в ходу среди евреев.

И вот тут мы встаем перед великой загадкой: каким образом еврей, родившийся на забытой Богом станции Китайско-Восточной железной дороги и проведший первые двадцать лет, то есть половину своей жизни, в заштатном сибирском городе Иркутск, мог написать одну из самых еврейских вещей в русской литературе — "Повесть о рыжем Мотэле"?

Заметим, однако, что загадка эта не новая, загадке этой уже более полувека, и чуть не первым, кто пытался разрешить ее, был близкий Лефину человек, вошедший в его правительст-

во в качестве наркома просвещения, Анатолий Васильевич Луначарский. Вот его доподлинные слова: "Прежде чем сказать несколько слов о знаменитой повести Уткина, укажу на то, что Уткин, не будучи сам ни жителем Кишинева, ни ему подобных городов, а иркутским уроженцем (здесь небольшая ошибка: Уткин, как помним, был уроженцем станции Хинган, КВЖД, — А.Л.), изумительно сумел проникнуть в самые недра этнографически еврейского духа. Это объясняется не только тем, что Уткин сам по происхождению еврей. Нет, это в пределах широко живописного и чуткого, восприимчивого дара Уткина, потому что другим, менее большим, но чрезвычайно глубоким шедевром его является небольшая поэма "Якуты"...

О "Мотэле" немного. Повесть пользуется заслуженным широчайшим успехом. Ее мудрый юмор даже как-то странно сочетается для меня с молодостью Уткина. Это произведение полно задумчивой зрелости; виртуозная форма, мягкость переходов, богатый, великолепно ухватывающий русский еврейскую речь стиль, соединение серьезности, даже строгости, с непринужденной иронией, — все это ставит Уткина сразу в ряды крупнейших поэтов нашего времени. Будем ждать, как пойдут дальше дороги его развития".

Ну насчет дальнейших дорог выше было уже сказано, что ничего равного "Мотэле" Уткин более не создал. Даже знаменитая его поэма "Милое детство", которую Горький считал шедевром, никак не может быть поставлена в один ряд с "Мотэле", хотя местами повторяет, от первого "до", как говорил знаменитый одесский профессор Столярский, до последнего "си", ее тон:

Старый барон
Генерально суров.
Главное — глазки:
Не смотрит, а греет!

— Ну-с, — говорит, —
Ты — из жидков?
— Нет, — говорю, —
Из евреев.

Но вернемся к главному вопросу: что же это была за сила, которая заявила себя с такой полнотой, с такой властью в душе чаддона, что взяла верх над его чаддонством и поставила его, по словам Луначарского, признанного знатока мировой литературы, ”сразу в ряды крупнейших поэтов нашего времени”?

Сила эта была е в р е й с т в о поэта, но не то еврейство, которое просто в паспорте, потому что так угодно, так выгодно властям, а то еврейство, которое в крови, в душе, в каждой клеточке тела и составляет самую сущность человека.

В двадцатые годы в Советском Союзе, когда он еще не был национал-большевистским государством, проводились специальные исследования по части психологии и психопатологии евреев. Здесь не место входить в детали этих исследований — всякой вещи свое время и свой угол, — однако на один тезис следует обратить внимание: тезис этот — наличие сильно выраженного еврейского генотипа. Важнейшей чертой этого генотипа является национальная еврейская ментальность, которая, в частности, находит свое выражение в исключительном универсализме, с одной стороны, и мощном импульсе племенной верности — с другой. Последнее может, по первому впечатлению, показаться спорным пред лицом известного факта миллионов обращений евреев в иные веры, однако следует помнить, что эти обращения именно потому привлекают наше внимание, что они являются отклонением, аномалией на фоне тысячелетней, в масштабах истории всей человеческой цивилизации, верности евреев своему еврейству.

Сколько евреев можно было встретить в Хингане, — этом

краю великороссов, чалдон, китайцев, корейцев, дауров, гыляков! Сколько евреев и каких можно было в те годы найти в Иркутске, наполовину таежном городе, выросшем на месте Иркутского зимовья, поставленного здесь два с половиной столетия назад головорезами-казаками, которым воля здесь, среди забитых туземцев, была вольная: и ясырь брать сотнями баб молодых да старых да робенками, и в пень, по отписке Ерофея Хабарова, всех порубить с головы на голову, и юрты пожечь и дым пустить!

Нет, не было здесь следов еврейской истории, все было холодное, далекое, чужое: тайга — не бессарабские кодры, Иркутск — не мамалыжный, виноградный Кишинев!

И вот тебе на: здесь, на берегах Ангары, рождается красочная, как сказка из Агады, быль о кишиневском портняжке Мотэле, о том, как всего два погрома, и он стал сиротой, о том, как он делал революцию и как революция делала его. И вся эта быль рассказывается русскими словами, но предложения, в которые складываются эти слова, еврейские, как будто в переводе с идиш, но интонации, — а значит, синтаксис — уже и вовсе не переводные, а первородные, потому что и сам автор, и его герои не только мыслят, но и цокают языком, размахивают руками, опускают веки, скашивают глаза, мотают головой, льют слезы, топают ногами, смеются и проклинают — по-еврейски! Мало того, не просто по-еврейски, но на манер а ля клейн штетл, как выработалось за тысячу лет на Руси, а до того еще три тысячи лет выработывалось от берегов Иордана до берегов Тигра и Ефрата.

Как же не топнуть тут ногой, не цокнуть языком, не замахать руками, когда перед нами — настоящее чудо: сколько сотен, сколько тысяч местечек было на Украине, было в Белоруссии, было в Бессарабии, сколько миллионов евреев имели там свой дом, свой угол, а не нашлось среди них ни одного,

кто бы сказал таким слогом, не на идиш, а по-русски, про еврейского бохера Мотэле, как сказал о нем еврей-чалдон Иосиф Уткин!

И все же не будем стегать своих коней батогом, не будем пускать их в галоп: пусть идут мерным шагом, пусть имеют спокойную минуту, чтобы подумать о своей лошадиной жизни, а мы — мы займемся своими делами. Итак, было ли это действительно чудо, что иркутский еврей, поэт, сочинил такие стихи про шнайдерл Мотэле из Кишинева, как будто всю свою жизнь, с той первой минуты, когда мама первый раз дала ему титьку — ццку, как говорила сама мама, — прожил среди кишиневских евреев?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала разберемся, а что такое чудо. Моя соседка, покойная Песя Мавергауз, воротясь со Старого базара со связкой лиманских бычков, кричала на весь двор: эй, дрекфрессеры, выходите смотреть — эти бычки такое чудо, что такого вы еще не видели и никогда больше не увидите! Другая соседка, Женя Благодатная, говорила про своего мужа, одесского поляка, что как он ее любит, — это просто чудо, наши евреи так любить не умеют. Когда пришли румыны и стали отправлять жиданов в Доманевку, 200 километров от Одессы, второй Бабий Яр, — там расстреляли и сожгли 52 тысячи евреев! — он сам привел полицаев и сказал: заберите Хайку!

Ефим Граник, маляр, которого тоже отправили в Доманевку, сбьяснял, что чуда на свете не бывает, потому что чудо — это что-то невозможное: а что может быть невозможно для Бога, который может все!

Из приведенных примеров ясно видно, что чудо, как его представляют себе люди, многолико. Некоторые же, например наш маляр, а маляр это почти художник, вообще отвергают чудо под тем предлогом, что чудо — это то, чего не мо-

жет быть, а раз оно есть, стало быть, это вообще не чудо.

И вот, хотя только что шел разговор, как же нам не топнуть, не цокнуть при виде такого чуда, как чалдон Иосиф Уткин со своим рыжим Мотэле из Кишинева, должны мы, однако, признать, что чудо наше не относится к разряду тех, что окружены непроницаемой тайной. Напротив, чудо наше имеет вполне будничное объяснение: хотя от Иркутска до Кишинева шесть или семь тысяч верст, но, оказывается, в Иркутске, когда Иосиф жил там со своей мамой и своими сестрами — брата его Александра к этому времени зарубили семеновцы, — был свой маленький Кишинев. И свидетельство об этом имеем из уст сибиряка, с убедительной фамилией Скуратов. Михаил Скуратов.

Вот его слова: "Иркутск и Сибирь нашли если не прямое, то косвенное отражение в поэзии Иосифа Уткина. Действие знаменитой "Повести о рыжем Мотэле" перенесено в дореволюционный и послереволюционный Кишинев. А между тем в пору создания поэмы Иосиф Уткин никогда не бывал и не жил там. Мне, коренному иркутянину, близко знавшему Иосифа Уткина, позволительно утверждать: в поэме отчетливо угадывается родной Иосифу Иркутск, именно та часть города, что расположена за тогдашним Хлебным базаром в сторону Байкала, где была синагога и гнездились довольно густое еврейское население, не совсем похожее на местечковое украинское и белорусское, сильно осибиряченное, даже и в говоре, но и не совсем утратившее свои национальные особенности. Здесь и почерпнул Иосиф Уткин материал для своей "первенствующей" поэмы... Он сумел переплавить иркутские впечатления с преданиями о местечковом укладе и тем самым создал поэму обобщенного, а не местного значения. Но Иркутск дал все, что нужно было для "Повести о рыжем Мотэле". Зато в другой поэме, "Милое детство", а также во многих стихот-

ворениях тридцатых годов... он прямо называет и упоминает в них свой родной Иркутск со всеми тогдашними приметам его уклада, опять-таки свойственным кварталам за Хлебным базаром, поближе к речке Ушаковке и Иерусалимской горе”.

О! Так вот, где оно, настоящее чудо: на краю света, чуть не посередь тайги, у горы — та гора! — с таким родным, что роднее уже не придумаешь, названием, Иерусалимская, и, конечно, вблизи базара, евреи устроили себе свою Касриловку, свой маленький Кишинев, который как две капли воды был похож на Кишинев всамделишный, в далеко-далекой Бессарабии, откуда деды их пустились куда глаза глядят в поисках копейки и тихой жизни, без погромов.

Кто знал тогда — про теперь я не говорю, теперь ничего не осталось и говорить не о чем! — что где-то у Байкала живут доподлинные евреи, которые имеют свою синагогу, а раз синагогу, значит, и ребе, а раз ребе, значит, где-то возле ребе меламеда и хедер, словом, живут, как живут все евреи? Никто не знал. Точнее, не то, чтобы совсем никто, потому что вышел оттуда, кроме Уткина, поэт Джек Алтаузен, работал в Иркутске знаменитый фольклорист профессор Марк Константинович Азадовский, которого добились позднее, в 49-ом году, в Ленинграде, когда били космополитов, и не зря эстет Александр Мейсельман, сын богатого в свое время папы, поднесший — до революции, конечно, — от имени иркутской интеллигенции букет самому Бальмонту, говорил про своих собратьев по перу: ”...от них сильно отдает либо квасом и кислой капустой, либо чесноком!” Ну насчет чеснока не надо объяснять, чей это родовой запах, однако, как было уже сказано, чувство удивления по поводу Уткина и его кишиневского героя не покидало современников, и Маяковский, который знал ”Повесть о рыжем Мотэле” наизусть и читал ее публично, задавал автору вопрос: ”Комиссар Мотэле — родовитый сын черты оседлос-

ти. Каким же образом вы из Сибири его узрели, а главное, поняли?”

Про Маяковского, как и про Горького, многие говорили, что он юдофил. И вот, при всей любви к евреям, главное удивление вызывало у него не то, что Уткин из своей Сибири узрел кишиневского Мотэла, а то, что он понял его, ”родовитого сына черты оседлости”, как будто еврей, даже если он имеет право на жительство в обеих столицах, может избавиться от мироощущения ”родовитого сына черты оседлости”!

Василий Томский вспоминает: ”Я перекинул ему старый искусствоведческий журнал с репродукциями картин Марка Шагала... И снова долго рассматривал Иосиф эти репродукции, как-то пренебрежительно отбросив все, подобное ”летающему раввину”, и задумавшись над реалистичными, несомненно, изображениями косых витебских домишек с подслеповатыми окошками, с нищенским бельишком, вывешенным на просушку, и т.п.

— И вот ведь, — сказал он, словно очнувшись, — так и жили эти люди, да что там жили, — сколько еще и теперь живут... Большинство из них не потеряли жизнелюбия, даже юмора. Будь с ними иначе, не было бы таких, например, писателей, как Шолом-Алейхем с его улыбкой. Правда?

От Шолом-Алейхема перешли к Саше Черному, томик которого Иосиф листал, усмехался, расхохотавшись над строками ”царь Соломон сидел под кипарисом и ел индюшку с рисом”. Он задумывался над многими стихами и чувствовалось, что находит что-то созвучное и кособоким домишкам ”полосы оседлости” и каким-то своим мыслям”.

Саша Черный, он же Александр Гликберг, потешавший всю Расею своими стихами, долгие годы был кумиром Иосифа Уткина. По воспоминаниям друзей, первые варианты ”Мотэ-ле” были очень близки к Саше Черному — по музыкальной

тональности, по портрету, по рисунку окружения. Збылы утверждали, что гипноз Саши Черного оказался слишком сильным: Мотэле явился на свет Божий с родимыми пятнами от чужого папы. Что тут можно ответить? Что у Саши Черного, хотя на склоне лет он подался в христиане, и у Иосифа Уткина дедушки и прадедушки шли от общего корня — как же не быть родственным родимым пятнам!

Кстати, как-то зашел ко мне на Ист-Сайд в гости мой сосед Мойше Трауб. Ему семьдесят лет. Он не понимает, откуда на нем эти годы. На старости лет он решил взять себе молодую жену, на Йом-Кипур ей как раз тридцать, а в квартире тараканы. Она не любит тараканов. Он купил роуч-мотель. Но тараканы сами не заходят в мотель. Он придумал способ: ловить насекомых руками, набрасывать на шею петлю и заводить в мотель. Он объяснил, это гарантия сто процентов, так поступают в России и в Китае с людьми: в России — колхозы, в Китае — "дома счастья". Я сказал: "Мойше, эту майсу я слышал в Одессе, когда ходил в первый класс. Вы из Одессы?" Нет, сказал Мойше, он не из Одессы: он родился здесь, на Орчар-стрит. Я спросил: а папа, а мама? Папа-мама, конечно, из Одессы? Нет, сказал Мойше, папа из Австро-Венгрии, из Вены. Мама тоже из Австро-Венгрии, из Лемберга. Мойше стал рассказывать про свою жизнь. У меня было ощущение: мне десять лет, еврей с Молдаванки пришел в гости к моему отцу, чтобы продолжить разговор о нашей еврейской жизни с того места, где они остановились, когда отец еще был жив. "И поверьте мне, — как говорил гуцковский рабби бен Акиба, из Амстердама, — бывало это все... И все прочесть вы можете в Талмуде. Да, да, бывало так уже не раз".

Что рабби бен Акиба был прав не на сто, а на все двести процентов, еще раз убеждает нас история Иосифа Уткина и рыжего Мотэле, которые оба родились в тайге, но прикинулись

коренными кишиневскими евреями, причем прикинулись так искусно, что даже настоящие кишиневские бохеры, имевшие в Бессарабии своего деда и прадеда, приняли их целиком за своих.

Правда, нашлись в свое время пуристы среди еврейских критиков, которые шушукались между собой, что Бэз не настоящая еврейская фамилия, что Мэд не настоящее еврейское имя, и Иосиф Уткин этим самым немножко разоблачил неполноценность своего еврейства. И хором, — но опять-таки строго промеж себя — они восклицали: и откуда в тайге могут водиться настоящие евреи!

И тем не менее, как видим, не только могут, но и водятся, и такая у них еврейская душа, что нам с вами — из Кишинева, из Одессы, из Киева, Черновиц, Могилева, Витебска, — дай Бог всегда иметь не хуже.

Но что постоянно в этом мире! ”Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти...”. Увы, как можем мы оспорить слова Козлета-Екклезиаста! Воистину, нет власти у человека над днем смерти. Более того, нет власти у него и над днем жизни.

И вот печальный пример.

Приехал еврей из тайги со своим еврейским героем, таким еврейским, что даже тогдашний всероссийский кумир, крестьянский поэт Сергей Есенин любил цитировать его речения: ”Отцу хвалить не годится, но, другим не в укор, скажу: моя девица — девица до сих пор”. Сам первый советский нарком просвещения Луначарский — в одном издании канадских украинцев я прочитал, что настоящее имя ему Мондельштам, как настоящее имя Керенскому не Керенский, а жидовское Кирбис, — так вот, сам первый нарком просвещения Луначарский, которого поставил на этот пост Ленин, выдал сибирскому еврею за его поэму мандат на место в рядах ”крупнейших

поэтов нашего времени”, а Горький так был поражен фантазмагорическим, неведомо из какого царства-государства, явлением поэта Божьей милостью, что разразился целой тирадой: ”Когда я прочел ”Мотэле”, я подумал – ну, человек, так начавший, или сделает очень многое, или ничего. Теперь я вижу, что это – настоящее и надолго – что это натура”.

Увы, распорядители мандатов и провидцы, чье провидчество также засвидетельствовано мандатом от правительства, берут на себя слишком много, уверяя себя и публику, что могут, подобно герою барона Мюнхгаузена, загибать взгляд за линию горизонта.

Жил в свое время в Англии знаменитый писатель Шеридан. Ричард Бринсли Шеридан. Он был не только писатель – он был еще блестящий оратор, политический деятель и настоящий денди. Но главное все-таки то, что он был писатель – автор комедии ”Школа злословия”, которая вот уже скоро двести лет как не сходит со сцены. Когда прижизненная звезда его стала закатываться – перед тем, чтобы снова взойти, уже после его смерти, на небесах далеких потомков, – распространился слух, что он пишет новую комедию. Один из его друзей спросил, правда ли, что он действительно пишет новую комедию, и Шеридан ответил: правда. ”Нет, – покачал головой этот друг, – не верю: вы никогда больше не будете писать, вы боитесь писать”. На что Шеридан спросил удивленно: ”Кого же я боюсь?” И друг ответил ему: ”Вы боитесь автора ”Школы злословия”.

Иосиф Уткин не Ричард Шеридан, но в свое время со своим Мотэле он наделал в России не меньше шума, чем Шеридан со своими лэди Снiruэл и Джозефом Сэрфэсом в Англии. Литература же, при всем свое отличии, имеет одну общую со спортом особенность: участники постоянно должны подтверждать свой балл. Пока известно только одно исключение: вешен-

ский казак Михаил Шолохов, который чем меньше он делает, тем выше балл ему дают.

Но, повторяем, это исключение, а Иосиф Уткин не был исключением. И балл, который дали ему за "Мотэле" надо было подтвердить. И Уткин изо всех сил старался подтвердить, потому что легче прожить вообще без славы, чем иметь ее в молодые годы, а потом потерять навсегда. Некоторые утверждают, что это даже страшнее, чем потерять свое богатство.

Но легко сказать: подтвердить! И пытаясь, по словам одного его друга, преодолеть им же самим воздвигнутую вершину, Уткин говорил братьям, которые толпились у подножия: "Тем из вас, кто пробует свои силы в поэзии, я желаю успеха. Но хочу предупредить вот о чем. Успех, достигнутый в юности, конечно, большое счастье. Но ранний взлет может обернуться поздними срываами. Я написал "Мотэле" совсем молодым. Все хвалили, даже классики: Алексей Максимович, Владимир Владимирович, Анатолий Васильевич... Хорошо, да? Но вот с тех пор, что бы я ни писал, меня попрекают первой удачей. Работаешь, волнуешься, дымишься, выдаешь на-гора вещь. Нет, говорят, "Мотэле" был лучше. Слушайте, уверяют со всех сторон, второго "Мотэле" вам не написать. Но я и не собираюсь повторять себя молодого. Я ищу. А искать трудно. Ох, как трудно...".

Что остается нам? Нам остается повторить вслед за Уткиным: трудно, и еще как трудно! И первая трудность в том, что надо не просто тыкать пальцем в небо, а надо точно знать, где искать.

И вот возникает вопрос: а знал ли Уткин точно, где надо искать? И еще один вопрос: что это значит — "точно знать, где надо искать"? Для удобства ответим сначала на второй вопрос: точно знать, где надо искать, — это значит следовать себе, своей натуре, а не держаться за чужую веревку, чужую цепь,

хотя бы и золоченую, ибо и та, и другая, как показывает жизнь, всегда имеют на конце своем ошейник.

Теперь вернемся к первому вопросу: знал ли Уткин, где надо искать? Да, ответим, не только, когда писал "Мотэле", но и какое-то время после, знал:

Город Иркутск
Удивительно мал:
Утром
Сморкнетесь —
Звучит до заката.

Но в этом заштатном городе, который "удивительно мал", есть и еврейский квартал, и синагога, есть и своя Иерусалимская гора. И как же еврей может не любить это, если все такое родное, такое свое:

Ночью — библейская красота!
Синее и густое.
Домик,
 над домиком высота.
Домик —
 над высотой.
Вы понимаете:
 бок о бок —
Небо чуть-чуть повыше.
И может быть, здесь
Квартирует Бог,
И только на время вышел.

Это строки из "Милого детства", которые остались в рукописи и не вошли в канонический текст, одобренный цензурой. Я имею в виду не официальную цензуру советской влас-

ти, а ту цензуру, которая потихоньку свивала себе гнездо в душе у поэта, когда он еще не совсем заблудился.

Про Бога, как видим, сказано здесь не то, чтобы слишком тепло, но достаточно уважительно: так говорит еврей, который не уверен, что Бог на свете есть, но сказать, что Бога нет, тоже не решается.

А теперь давайте сравним эти слова про Бога с другими, теми, что попали в окончательную редакцию:

Начали с Бога
И, надо признать,
Здесь преуспел я
Немного.
Только потом —
Через душу
И мать —
Я дотянулся до Бога!

Ну, я думаю, нет нужды объяснять, что это здесь, за морями-океанами, мы пишем "Бог" с большой буквы, а там, где дотягивались и дотягиваются до Бога "через душу и мать", там, кроме собственных имен, только "генеральный секретарь" и "партия" дозволено писать с большой.

Но не к этому доводы, как говорили кишиневские евреи. Не об орфографии речь. А о том речь, что люди поменяли богов, как будто не Единый над всеми, как будто всякий новый вождь, то ли Кремлевский Горец, то ли Никита-Кукурюзник, то ли Ильич-Бровеносец, подобно императорам древнего Рима, суть истинные боги, которым следует воздавать божеские почести, а Единого пусть постигает народ через площадную брань и матерщину.

В стране, где народ и партия едины, это ха-ра-шо поняли все, и поняли задолго до процессов тридцатых годов, которые

многие и поныне считают главным водоразделом, как будто вселенский водораздел есть начало, а не завершение вселенского катаклизма.

Прежде чем приспособиться к чужому "я", по установленному ЦК и ЦКК образцу, следовало отказаться от своего "я". В каждом отдельном случае здесь имелась своя специфика в зависимости от профессии, личных вкусов и житейской философии индивидуума. Но суть для всех была одна: отказ от своего "я".

"Милое детство" – поэма о подростке, которому "судьба не скроила шубу", по каковой причине он пошел в революцию, писалась в период между пятнадцатым и семнадцатым съездами партии. Венцом этих лет был незабываемый двадцать девятый, "год великого перелома" – великого перелома костей, как уточнилось позднее, уже без товарища Сталина. Изгнан был из страны Советов Лейба Троцкий-Бронштейн – в 40-м году получил, собака, свое по черепу! – схлопотали, кто вышку, кто тундру, шахтинцы да промпартийцы – инженер Рабинович, семидесятилетний старик, в свое время депутат Государственной Думы, кричал на суде прокурору Крыленко (Вышинский был тогда еще на вторых ролях, в председателях): "И что вы лжете? А? И кто это научил вас так лгать?" – подошел черед и всяких нацменов, которые, как известно, все, через одного, националисты.

Что же касается евреев, то на этот счет у товарища Сталина давно был свой взгляд. Еще в 1907 году в "Записках делегата" он писал: "...кто-то из большевиков заметил шутя... что меньшевики – еврейская фракция, большевики – истинно русская, стало быгть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром". А тридцать лет спустя, на обеде для узкого круга руководителей НКВД 20 декабря 1936 года, товарищ Сталин хохотал как ребенок, когда ему изображали, как Зи-

новьев, хватая энкаведистов за сапоги, истошно вопил: "Ради Бога, товарищи, позовите Иосифа Виссарионовича!" А поскольку Иосиф Виссарионович не пришел, — злые ежовцы не передали ему просьбу, — то Зиновьев в последний момент воздел руки к небу и воскликнул: "Услышь, Израиль, наш Бог есть Бог единый!"

В этом месте, как рассказывают, товарищ Сталин так зашелся от смеха, что чудом остался в живых и едва не осиротил свои народы. Как тут не подивиться: от каких, в сущности, пустяков зависят порою судьбы мира!

Теперь, заглянув немножечко в историю, нетрудно догадаться, что Иосиф Уткин, который, как говорят все в один голос, был неглупый человек, не слишком стал цепляться в эти годы за свои еврейские словечки, ибо с еврейских словечек, это каждый знает, начинаются еврейские штучки.

Вот как рассказывает он сам: "К языку "Милого детства" я подошел с о з н а т е л ь н о. В "Мотэле" я использовал интонацию н а ц и о н а л ь н у ю, здесь я постарался, по возможности, с чувством меры использовать акцент люмпен-пролетария. И вот по каким соображениям. Слово — это среда (о, как раз то, о чем мы только что говорили! — А.Л.)... В искусстве нет плохого и хорошего языка, а есть язык большей или меньшей выразительности... И если "Милое детство" хоть немножко поработает на очистке "российской пыли", автор будет считать свою задачу выполненной".

Два слова — "сознательно" и "национальную" — выделены мною для удобства читателя, который, конечно, и без меня обратил на них внимание, ибо именно в них, как говорил шпрыхштальмейстер одесского цирка, всемирно известный Николай Львович, гвоздь программы. Обратим внимание еще на пару слов — "российская пыль", — которую поэт сам взял в кавычки. Что за "российскую пыль" имел он в виду?

Блатной жаргон, воровскую феню? Но вот вам несколько строк из рукописи:

Что говорить!
Посмотрите: как все —
Лошадь!
Под плетью,
Под ношею —
Лошадь мечтает
О лучшем овсе,
Извозчик —
О лучшей лошади.

Или возьмем, например, эти:

Вор не узнает,
А родственник — да.
Ну, так из этого видно:
Знал мой папаша
До гроша всегда —
Теткины злыдни.

Слов нет, оставить стихи или выбросить — на то полная воля поэта. Но у нас вопрос совсем другой: зачем же при этом обманывать себя! Тем более привлекать к этому еще и других.

Уже работая над "Милым детством", вскоре после "Мотэле", Уткин, несомненно, работал, преодолевая в себе еврея. Я говорю "преодолевая" потому, что так, за здорово живешь, единым махом преодолеть себя никак невозможно. Более того, очень и очень сомневаюсь, что вообще возможно это. Помню, как наша соседка, православная, сказала своему мужу, когда он полоскался после работы у дворового крана: "Мой, мой, все равно жида не отмоешь". Он не обиделся, дал ей в ответ по морде и сказал: "А ты гойскую свою харю не отмо-

ешь”. Соседи — и евреи и неевреи, — которые присутствовали при этом, говорили, что оба правы.

Думаю, они имели полный резон для такого суждения. Можно предать, можно отречься от своего племени, но харя, какую дал тебе Господь, все равно выплезет наружу. А новая харя, сколько ни натягивай ее на себя, как ни подкрашивай, все равно будет как муляж, хотя бы и челюсти щелкали, и желваки играли.

”Российской пылью” норовил прикрыть свое еврейство Уткин. А потом оказалось, что так густо присыпался ею, что отряхиваться впору, а то и вовсе черт знает что выходит. Ну а уж работать так, по старинке, как над ”Мотэле”, не припудриваясь, то есть просто евреем, об этом уже не могло быть речи.

К ”Первой книге стихов” Уткин взял эпиграфом восемь строк Языкова:

Там, за гранью непогоды,
Есть блаженная страна,
Где сияют небосводы,
Не проходит тишина.
Но туда выносят волны
Только сильного душой.
Смело, братья! Ветром полный,
Прям и крепок парус мой.

Нет, не суждена была ему блаженная страна, ибо не был он силен душой, и не был прям и крепок его парус. Поплыл он по воле волн, ибо, как заметил мудрый еврей Светлов, ”куда легче писать для населения, чем для поколения”.

И Уткин вполне успешно писал для населения, и население читало его стихи и пело его песни, ибо был он добрый, отзывчивый человек, за которым табуном ходили девушки, потому что и талант, и красота, и длинные пальцы гитариста — пока на

фронте не оторвало у него чуть не всю правую кисть — в одном человеке встречаются не каждый день. И кроме того, когда все надрывали горло: ”левой! левой! кто там шагает правой!”, он имел мужество бывать грустным, печальным и — самое главное — не скрывать этого:

Нам всем дана отчизна
И право жить и петь,
И кроме права жизни —
И право умереть.

Это из стихотворения ”Слово Есенину”, которое в те дни, и не только в те, а и доньше, порою забыв уже и автора, повторяют в народе. Знающие люди утверждают, что это и есть истинно народная слава, ибо народ, как ведется исстари, позабыл какого-то стихотворца, который такой же простой смертный, как все прочие, а стихи и музыку приписал себе, бессмертному: ”Стихи народные. Музыка народная”.

Нет, об этих стихах, конечно, не скажешь, что писаны они для населения, а не для поколения. И в данном случае — самоубийство великого поэта — не имело значения, кто скорбит, еврей или нееврей, ибо трагедия была общечеловеческая.

Но были другие случаи, сотни случаев, когда поэт, которому дорого свое Я, не только не вправе был забывать о своем еврействе, но обязан был помнить о нем каждый Божий день, ибо день этот был дан не человеку вообще, человеку без роду, без племени, а дан был ему, еврею.

Значит ли это, что всякий Божий день он должен был каждому встречному-поперечному лезть в лицо со своим еврейством? Нисколько! В двадцать пятом году он написал стихотворение ”Родина”. Что же это за родина? Родина эта — Сибирь, земля, где он родился, то есть родная его земля, про которую говорят, что стала она теперь другая. Не такая, как была. Но

поэт не верит, потому что любит ее такой, какой была она, когда мать кормила его грудью, когда впервые, голозадым пацаном, попер он, с замирающим от страха сердцем, в черно-бурую тайгу, когда впервой пошел он охотником на волка, а притомившись, лег в зимовье прикорнуть:

Не такая!
А белый и вьюжный
Мне буран завывает:
"Айда!"
Потому что совсем не хуже
Черно-бурая стала тайга;
Потому что на гиблой дороге
Еще часто, качаясь, идет
И татарин — байбак кривоногий,
И барсук остроскулый — ойрот.

И из нового своего жилища, в белокаменной краснозвездной Москве, он изо всей мочи, чтобы услышал его родной сибирский медведь, орет:

Ты не бойся — я здесь не подохну!
Мой родной криволапый медведь!
Эх, на день бы собачью доху,
Хоть на день
 Поносить,
 Одеть...

А за минуту до этого он и вовсе клялся:

Только здесь не останусь долго:
Убегу я в Сибирь — что ни будь!

Не, не убежал он в родную свою Сибирь, в родной свой Иркутск, где открылась ему в детстве его, под тамошней Иеру-

Теперь я между теми,
Которые живут и любят
Без труда.
Должно быть, это — век,
Должно быть, это время —
Жестокие и нужные года!

И в те "жестокие и нужные года" были стихи и про Россию, и про березы, и про русскую тройку. Но стихи эти положила на свою музыку Революция, и она же, пролетарская эта Революция, понудила еврея петь на ейный классовый голос:

Я отдал
березам
все дани.
Теперь я
додумал,
дорос —
За что
молодые
дворяне
Певали
Россию
берез.
В далекую
темную
бытность
Вся эта
сусальная дрянь
Обертывалась
как
"самобытность"
В квасном

диалекте
дворян.
О русские
песни
и тройки!
Затравлен,
забыт
и чуть жив,
На этой
московской
настойке
Дурел
”православный”
мужик.
Но я-то
в делах
Перекопов
Затем
и гремел
и громил,
Чтоб был
до корня
перекопан
Весь этот
усадебный
мир.
То
армией целой,
то горстью,
И вкривь
мы рубали
и вкось

Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!
.....
Уж я времячко
Проведу, проведу...
Уж я темячко
Почешу, почешу...
Уж я семячки
Полущу, полущу...
Уж я ножичком
Полосну, полосну!

Как видим, ненависти к дворянской, царской Расее здесь нисколько не меньше, — а крови людской, которой цена на красной ярманке полгроша, даже поболее! — чем у еврея Уткина. А вот насчет "московской" душевной настойки, на которой "дурел "православный" мужик", трудно допустить, чтобы русский человек с этаким вывертом прошелся по тысячетлетней русской вере. То есть были в России люди — Чаадаев, например, — которые прохаживались в адрес православия и похлеще. Но ведь и слава им была соответствующая, и не по одному лишь повелению царя честили их сумасшедшими русские люди, а и в полном согласии с собственной волей.

А вот для революционно настроенного еврея разговор насчет "московской настойки", за которой, хотя и неназванные, стоят еще и сорок сороков московских церквей с вековым своим прихожанином, православным мужиком, был вполне логичный, ибо, как помним, революционный этот еврей и своих готов был порубить-пожечь: "Если надобно, седую синагогу подпалю со всех сторон"!

Думается, однако, во всех этих революционных декларациях было больше бравады, чем истинной готовности рубить и палить.

Евреи, конечно, шли в революцию, как никто из всех прочих российских инородцев не шел. В разговоре с Теодором Герцлем, когда тот приехал в Петербург по поводу сионистских дел, граф Витте, который вскоре стал премьер-министром, заявил, что 6 миллионов евреев, при 136-миллионном населении России, дали 50 процентов русских революционеров. В 1898 году на евреев, по тогдашней статистике, приходилось четверть всех политзаключенных.

Но тут самое время задать вопрос: в к а к у ю революцию шли евреи — в большевистскую или д е м о к р а т и ч е с к у ю? Несколько выше мы привели слова товарища Сталина, который, этого никто не будет отрицать, был мастером своего дела. Что же он говорил, этот мастер своего дела? А вот что: "меньшевики — еврейская фракция, большевики — истинно русская..." А красный Октябрь, этого тоже никто отрицать не будет, делали именно большевики, и делали его прежде всего не в Гомеле, Бердичеве, Бобруйске, а в имперских колыбелях, Петербурге да Москве, где евреев было раз-два и обчелся. И среди тех, кого большевики, едва почуяв землю под ногами, тысячами поставили к стенке, первыми на очереди были евреи — из меньшевиков, из эсеров, из бундовцев, из кадетов. И среди тех, кто бежал от красного террора за границу во дни революции и гражданской войны, а в первые "мирные" годы от крепчавшей советской власти, была тьма евреев. И здесь, на Западе, они продолжали дело, которое нужно было не только им, евреям, а было делом всей России — русскую демократическую революцию. Кстати, в сегодняшних большевистских историях уже черным по белому писано, что в пролетарской Октябрьской революции евреи были сбоку припека. Но зачем

большевистские партийные истории, вот вам суждение автора на шумевших "Записок из Красного дома", о психушках, яркого антисемита — сам, правда, он именуется "добрым антисемитом" — христианина Геннадия Шиманова: "Я не такого грандиозного мнения о евреях, чтобы думать, будто они и совершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию". Вот вам суждение национал-большевистского поэта, ревнителя посконной Руси, Станислава Куняева: "Русская революция вспахала и перелопатила всю почву народной жизни..." Певец Руси, он уже и не видит надобности называть большевистский переворот его установившимся в истории именем, Октябрьская революция, а нарекает его прямо, без обиняков, истинным его именем: Русская революция.

А теперь опять вернемся к графу Витте, кстати, уроженцу Одессы, и вспомним слова его сионисту Герцлю, сказанные с откровенностью, какую мог позволить себе только человек, приближенный к особе императора: если бы он, граф Витте, "был евреем, то сам был бы против правительства".

Ну что можно добавить к этим словам, которые сказал царский министр? Разве только одно: что дело было не только в правительстве. И хотя многие, в том числе из самих евреев, лезут из кожи вон, чтобы доказать: жидоморство в России спокон веку декретировалось сверху, а мужики и рабочие всегда любили еврейчиков, как братьев, ибо породнились через Иешу-Иисуса, — в действительности картина была далеко не такая розовая. Достаточно вспомнить хотя бы пару лет гражданской войны, когда между Доном и Бугом белые и красные порезали, сожгли, зарубили — недалеко от Смелы, рассказывает знаменитая "Багровая книга", казаки не истратили ни одного патрона, а 1600 евреев, до единого, порубали саблями — по одним данным, 180 тысяч человек, по другим, 200 тысяч. Как говорит мой сосед Мойша Трауб, 20 тысяч туда, 20 тысяч

сюда, — какое это имеет значение: 20 тысяч рублей, долларов — это деньги, а 20 тысяч человек — это тьфу!

Прошу понять меня правильно: никто не доказывает, что простой русский человек относился к евреям плохо, а цари и начальники относились хорошо. Русские цари, если не считать Александра Второго, которого даже подозревали в тайных симпатиях к евреям, поскольку законы, которые он ввел своими знаменитыми реформами, во многих случаях не делали никакой разницы между неевреями и евреями, со всей прямо-той самодержцев признавали, что евреев они не любят, потому что любить их не за что. Кстати, недавно одна еврейка, обретшая Бога через евангельских христиан баптистов, врезала мне здесь, в Нью-Йорке, почти те же, царские, слова: "Скажите, а за что нас любить? Что хорошего мы сделали, чтобы нас любили в России, где мы имели все!"

Но вернемся к царям и начальникам. Лучше всех, как уже был случай заметить, высказался на этот предмет Александр Третий: "А я сам, признаться, рад, когда бьют евреев!" Что же касается начальников, то уместнее всего начать с ротмистра Комиссарова, отправлявшего в пятом году должность по департаменту полиции: "Погром можно устроить какой угодно: хотите, на 10 человек, хотите, и на 10 тысяч".

Конечно, в словах этих содержится прямой намек на высокую роль, какую всегда играло начальство на Руси, коль скоро заходила речь об выпустить кишки и кровь из ерусалимских дворян. Но дать команду — это, как известно, лишь полдела, а другая половина, причем большая половина, — это выполнить команду. Если человек выполняет команду против своей воли, то хорошей работы не ждите: будет обыкновенная халтура, то есть сделано кое-как, тяп-ляп. Но ежели человек вкладывает в дело душу, то получится, как получилось в погром пятого года в Одессе, когда градоначальник Нейдгарт

снял фуражку перед погромщиками и сказал от всего сердца: "Спасибо, братцы!" А еврею, ограбленному, избитому до крови, который обратился к градоначальнику в поисках заступничества, отвечал с той же предельной сердечностью: "Я ничего сделать не могу: Вы хотели свободу — вот вам жидовская свобода".

Каждому городу нрав и права, как сказал один наблюдательный инородец, каждый имеет своя голова. В матери городов русских, Киеве, погром отмечен был своеобразием, которое придавалось ему тамошним начальством. Полицмейстер Цихоцкий, который относился к погромщикам с отеческой теплотой и пониманием, однажды попытался не то чтобы пожуричь их, а так, чуть поостудить: "Довольно, братцы". Но один из братцев, старшой, тут же найдясь, подмигнул меньшому: "Ты разве не видишь, он ведь шутит". А меньшой, чего, конечно, видел не хуже старшого, и собрались братцы-громилы и взялись, как было уже допреж повсюду, где появлялся полицмейстер Цихоцкий, качать его.

Генерал Бессонов там же, в Киеве, где была на нем военная охрана трех районов, сказал хлопцам: "Громите, но грабить нельзя". А когда одна женщина нашла у дверей еврейской лавки штуку сукна, только что выброшенную оттуда погромщиками, генерал сказал: "Ну, это не грабеж, а находка".

Ну чего греха таить, радость была от погромов воистину всенародная. И командующий войсками в Одессе генерал барон Каульбарс с солдатской прямоотой и лаконичностью выказал общие чувства: "Надо называть вещи их именами: все мы в душе сочувствуем погромам".

Так вот, я спрашиваю вас: можно ли удивляться, что у еврея, будь он даже самый мудрый мудрец, будь он самый добрый добряк, являлось мстительное чувство! Наоборот, удивляться надо тому, что оно не взяло в душе у еврея верх над все-

ми другими чувствами, и вопреки всему он продолжал любить Россию, любить неразделенной, безответной любовью. И, конечно же, это рождало постоянно горькое чувство бездомности, ибо, где нет любви, там нет и родного дома:

Да, ни в хижине чухонца,
Ни в крутом седле бойца
Ни звезды своей, ни солнца
Не сыскал я до конца.

О чем же, поостыв немного от революции, мечтал еврей?
А вот о чем:

От Владивостока и до Польши
Проведен пунктир кровавый — тел.
Но спроси, поставь любого — больше
Ничего никто и не хотел!
Да и так ли мало быть пунктиром,
Или историческим звеном,
Между старым
И грядущим миром?
Мы и не мечтали об ином!..

Нет, это уж и вовсе не еврейская философия: быть пунктиром, быть, простите, навозом для истории, куском дерьма! Это философия, которую, по приказу товарища Сталина, должны были исповедовать его подданные, "винтики", как сам он наименовал их.

А еврейская философия, вот она: "И похвалил я веселие; потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться; это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем" (Екклесиаст, 8:15).

Но еврей Уткин уже, как было сказано, похерил еврейскую философию и горланил в унисон со всем стадом:

По Кузнецкой улице
Ехал поп на курице...
Едет батюшка пешком,
Тарантас накрыт мешком —
А навстречу аккурат
Подымается отряд.
.....
Знаменитый у р о ж а й.
"Ну-ка, батя... подъезжай".

Ну чем закончилась эта встреча, догадаться нетрудно:

По Кузнецкой улице
Поп лежит на улице.
А на гору аккурат
Подымается отряд.

И точно так же, как православный батя, повстречавшись с отрядом, зарывались носом в мать-землю, посреди улицы, в местечке, в городке, в ауле равнины, ксендзы, муллы — от края и до края по всей большевистской России, по-прежнему Великой, по-прежнему Неделимой.

И хотя революция досчитывала своим годам уже второй десяток, поэт Уткин, в поисках душевной ясности, все оглядывался назад: "Наступают... отступают... Пулемет чубы считает!"

Где-где мелькнет еще в стихах у него еврей — "Сорок первый номер... Только поскорей... В этом самом доме — комиссар еврей..." — но все это уже капля в море разлитом русских мелодий последних лет поэта. Даже про Льва Доватора, кавалерийского генерала, героя битвы за Москву, где 19 декабря незабываемого сорок первого он сложил свои кости, сказано так, чтобы читатель, не дай Бог, не догадался, что был этот герой из чистопородных иудеев: "В бурке черной и кры-

латой, как и прежде впереди, генерал-майор Доватор, — в эту горестную дату ты у гвардии — в груди”.

И клянясь, как клялись на фронтах шестьсот тысяч других евреев — двадцать процентов всего еврейского населения СССР! — поэт ни единым звуком не поминает своей родословной:

Клянусь: назад ни шагу!
Скорей я мертвый сам
На эту землю лягу,
Чем эту землю сдам.

Объективисты, и в первую очередь, конечно, из наших же, из евреев, наверняка захотят трахнуть националиста — само собою, еврейского националиста! — по темени: а клятву давали не только евреи, клятву давали все!

Давали, это так, но вот послушайте: ”Командир усталый спит, не спешит савраска, под полозьями скрипит русской жизни сказка”. Или еще: ”Меня как будто оросили живой и мертвою водой, как будто надо мной Россия склонилась русой головой!..” А вот знаменитая ”Русская песня”, положенная на музыку: ”Не звали нас и не просили, мы сами встали и пошли, судьбу свою в судьбе России глазами сердца мы прочли. Мы будем жить, как наши предки, к добру и подвигу спеша: Свободно жить! Неволы, клетки не терпит русская душа”.

Не будем спорить: если еврей говорит, ”неволи, клетки не терпит русская душа”, он, наверное, знает, что говорит. Но, как любят выражаться одесские евреи, спрашивается вопрос: разве только русская душа не терпит клетки, неволи? Разве украинцы, грузины, татары, узбеки и, наконец, те же евреи любят клетку, любят неволю? Они же все сражались на фронте, они же все клали свои жизни — неужели только потому, что ”неволи, клетки не терпит русская душа”! Или им, как говорят татары, что оттащить, что подтащить — одна ..й!

Что тут говорить, уж коли еврей берется петь кому-то гимны, так лучшего гимнюка не сыскать: "Но и небо мне кажется тусклым: эту славных веков благодать можно только, пожалуйста, на русском, на родном языке передать!"

Вот так, пройдя длинную дорогу, потому что это была дорога длиною в жизнь, и, вместе с тем, не очень длинную, потому что годов ему было жить всего сорок один, певец кишиневского бохера, рыжего Мотэля, обратился в великодержавного запевалу из известного коллектива "Старший брат", где каждый сам по себе мужичок с ноготок, а все скопом — гордость и слава русской советской поэзии.

Конечно, есть стихи и стихи:

На улице полночь. Свеча догорает.
Высокие звезды видны.
Ты пишешь письмо мне, моя дорогая,
В пылающий адрес войны.

Стихи эти надрывали душу солдата, и люди в блиндажах плакали, не стесняясь своих слез. Как не стеснялись на заре тридцатых, когда высокими пионерскими голосами выкликали:

Мальчишку шлепнули в Иркутске.
Ему семнадцать лет всего.
Как жемчуга на чистом блюде,
Блестели зубы
У него.

А еще раньше, в двадцатых, были и посильнее стихи, прямо скажем, перлы:

В хате девка молодая,
Позабыв про хоровод,
На бубнового
гадает,

На червового кладет.
Или девке это снится?
Вышла девка —
Ни души.
Тишь,
И лунные лисицы
Шнырят по двору в тиши.

И, тем не менее, это был уже не большак — это были проселки. А большак остался лишь в душе поэта — для себя, для сестер, для мамы.

Он любил свою мать любовью еврейского сына: "Да, ничего на свете так, запросто, не взять, — когда родятся дети, исходит кровью мать!"

Солдат, чье ремесло убивать, он обращался опять в маленького мальчика в ее объятиях:

И взгляд подслепый бросив,
Старуха обмерла:
"Иосиф. Ах, Иосиф!
Я так тебя
Ждала!"
И я в объятиях стыну...
"Иосиф, это ты?!"
.....
Чугунной паутиной
Качаются мосты.

Мать пережила его. Но она не знала о смерти сына. До последней секунды она верила, что сын в командировке, по секретному военному заданию.

Друг семьи рассказывает: перед смертью произошло с ней нечто непостижимое. "Раиса Абрамовна поднялась. В длинной

белой ночной рубаше. И пошла по направлению к окну, где в углу на рояле в рамке стоял портрет Иосифа. Она схватила портрет, прижала к сердцу, к губам, потом поставила на место. И это было все... Конец”.

Ее похоронили рядом с сыном — на Новодевичьем: в те годы еще случалось, еврейских матерей хоронили там рядом с сыновьями.

Над гробом Иосифа пел его друг, государственный тенор Иван Козловский.

В день похорон, 17 ноября 1944 года, Михаил Скуратов записал в своем дневнике: ”Уткина уже нет! Он уходит в вечность; когда-нибудь о нем скажут так, как мы говорим о древних греках и римлянах: ”Вот жил, мол, давным-давно некий Иосиф Уткин — большой русский поэт...”

Большой, потому что была поэма про рыжего Мотэле. И, кроме того, была еще одна, ненаписанная: про любовь еврейского сына к своей еврейской маме.

Впрочем, за ненаписанное поэта венчают лаврами, которых нет, и платят славой, которой тоже нет. Се ля ви!



ДЕВУШКА ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ

Она была из хорошей семьи. Из хорошей еврейской семьи. Папа издавал журнал "Математика" и вел дружбу с профессорами знаменитого Новороссийского университета в Одессе, где в свое время работали известные на весь мир Мечников, Сеченов, Ковалевский, Ляпунов, Успенский. Чтобы в полной мере оценить, какой он был замечательный человек, ее папа, Михаил Инбер, следует узнать, что сам он был родом из местечка Бобринец. Это теперь, в наши дни, Бобринец числится городом и райцентром в составе Кировоградской области, а тогда, сто лет назад, он был простым местечком, и еврей из Бобринца был то же, что еврей из Гайсина, Попелюх или Касриловки.

Еврей, который вышел из местечка, тем более елисаветградского Бобринца, на всю жизнь сохраняет свои бобринецкие привычки. Вера Инбер, когда она была уже женщина в годах, притом писательница, известная на весь СССР и даже за его пределами, вспоминала: "Его словечки. Он любил разговаривать сам с собой. "Ай, браво!" — восклицал он, когда был весел. Или: "Такие-то дела!" А не то было у него еще одно презабавное словечко: "Лебедей". Олицетворение превосходной степени чего бы то ни было: восторга, хулы, укора, иронии. Тысяча оттенков. Автором этого слова "лебедей" был один слегка тронувшийся не то сапожник, не то продавец газет, которого отец знал еще будучи студентом".

Как воспитанная девочка, Вера любила и папу и маму. Но папу со всеми его еврейскими штучками-дрючками она любила больше. Его штучки-дрючки пошли ей впрок, когда она стала писать рассказы про всяких Хаимов Егудовичей, Копельманов, Коринкеров, Прицкеров и Леву Гойха из Одессы.

Маму, сколько она ни приказывала себе любить так же, как папу, она любила все-таки меньше. Мама была учительни-

ца. Она учила девочек русскому языку, а со временем стала даже начальницей школы. Она всегда приносила домой кучу ученических тетрадей, гуляла в этих тетрадях со своим красным карандашом, как казак с шашкой в поле бранном, и всегда, во всех случаях жизни точно знала, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Даже ее муж, Верин папа, — кстати, у ассимилированных евреев в те времена было пристрастие давать своим дочерям имя Вера, я сам встречал пожилых евреек, по имени Вера, в Одессе, а в Риме моей ведущей в ХИАСе была Вера Морс, урожденная Познер из семьи известного в России до революции литератора, очень милая женщина, знавшая довольно порядочно по-русски, хотя, конечно, не так, как по-английски и по-итальянски, — да, так вот, Верочкин папа, когда жена его начинала поставлять своим домочадцам истины насчет, как надо жить правильно и, следственно, как жить неправильно, весь съеживался и делался таким маленьким, что родная дочка с трудом узнавала собственного папу.

Кто более или менее знаком с еврейскими домами, вряд ли найдет что-нибудь особенно новое в этой картине. Женщина у евреев, хотя обьчай не разрешает ей быть ребе, то есть учителем, — впрочем, в наши дни, слава Богу, женщину-ребе уже не приходится искать днем с огнем — в действительности всегда имела достаточно громкий голос. Правда, в числе утренних берахот есть и такая — "Благословен... что не сотворил меня женщиной", — а в притчах царя Соломона, который держал чуть не тысячу жен и имел по этой части опыт, который не каждый имеет, сказано, что "лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в просторном доме" (21:9), и еще сказано, что "лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливую и сердитою" (21:19). Однако в тех же притчах находим и нечто прямо противоположное: "Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа" (18:

22). Ну много ли есть на белом свете таких, кто может похвастать, что "нашел добрую (разрядка не моя, — А.Л.) жену" и тем самым "получил благодать от Господа", это уже вопрос особый, а нас интересует голый факт: женщина у евреев всегда пользовалась таким авторитетом, что даже авторитет мужчины был на этом фоне, как мыльный пузырь.

Достаточно вспомнить, что во времена пророков у евреев было семь пророчиц, имена которых записаны в Танах: Сарра, Мирьям, Дебора, Ханна, Абигаиль, Хульда и Эстер. И лично Аврааму, праотцу нашему, сказал Господь: "во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее" (Бытие, 21:12). И Ревекке, а не Исааку обязаны мы своим первородством, ибо это она, с чисто женской решимостью, без тени сомнения в своей правоте, взялась обмануть своего слепого мужа Исаака и присвоить первородство, которое по праву рождения принадлежало косматому Исаву, младшенькому, любимцу своему, Иакову, позднее получившему от Бога великое свое имя: Израиль.

Вот в обстановке такого женского домостроя росла Верочка Инбер, девочка со вздернутым носиком, миниатюрная, хрупкая, с рыжими волосами, поклонники впоследствии предпочитали называть ее златокудрой, капризная, немножечко взбалмошная и обожавшая своего истинно еврейского папочку, о котором до конца своей жизни говорила не иначе, как "мой замечательный папа".

Поразительный феномен: типично ассимилированная девочка, она на долгие годы сохранила пристрастие к еврейским словечкам, переданным ей местечковым папой, и свою таксу, заядлая собачница, она нарекла еврейским именем: Бенья Крик. Во времена Бабеля и Багрицкого у нее был Бенья Крик первый, четверть века спустя — Бенья Крик четвертый.

К пятнадцатилетию Октября, в 1932 году, она сочинила

стихотворение "Вполголоса", где говорила про себя: "Я писала лирически-нежны́м пером, я дышала спокойно и ровненько..." На самом же деле хотелось ей совсем другого: хотелось быть, как все. Не как все, которые были вокруг, в реальной жизни, а "как все", согласно нормативам и предписаниям революции:

История шла по стране напрямик,
Был полон значения каждый миг,
Такое не повторится.
А я узнала об этом из книг
Или со слов очевидцев.
А я утопала во дни Октября
В словесном шитье и кройке.
Ну что же! Ошибка не только моя,
Но моей социальной прослойки.

Ну, насчет социальной прослойки это была, так сказать, полуправда. А полная правда состояла в том, что и из ее социальной прослойки шли евреи в революцию. Правда, преимущественно шли в ту часть революции, которая представлена была меньшевиками да эсерами, о чем историки и по ту, и по эту сторону красного кордона пока что лепечут, по большей части, нечто невнятное.

Но поэтесса Вера Инбер, которой в юбилейном том году стукнуло сорок два, возраст, даже при всех девичьих компонентах ее фигуры, далеко не девичий, прошла уже полный курс большевистской политграмоты и резала наверняка:

Если б можно было, то я
Перекроила бы наново
Многие дни своего бытия
Закономерно и планоно.

Чтоб раз навсегда пробиться сквозь это
Напластование фактов,
Я бы дала объявление в газету,
Если б позволил редактор:
"Меняю уютное, светлое, теплое,
Гармоничное прошлое с ванной —
На тесный подвал с золотушными стеклами,
На соседство гармоники пьяной.
Меняю. Душевною болью плачу".
Но каждый, конечно, в ответ: "Не хочу".

Сделаем вид, что мы не заметили поэтической дряблости последней строки. Сосредоточимся на ее смысле: "Но каждый, конечно, в ответ: "Не хочу". Прежде всего: кто это каждый? Разве все поголовно отреклись от своего происхождения? Разве все поголовно хотели быть "мы молодая гвардия рабочих и крестьян"? Разве все в одну глотку орали "наш паровоз летит вперед, в руках у нас винтовка, другого нет у нас пути — в коммуне остановка?" Разве не затыкнул у себя на шее петлю Есенин! Разве, тужась из последних сил, не пустил себе пулю в сердце Маяковский! Разве не отпросился лично у товарища Сталина за границу Замятин! Разве не гнул, пусть с оглядкой, свою еврейскую линию Бабель! Разве не блевал желчью тяжело больной Багрицкий: "Нам нож — не по кисти, перо — не по нраву, кирка — не по чести, и слава — не в славу: мы ржавые листья — на ржавых дубах..."!

Кто же не знал этих фактов? Все знали. И среди этих всех, конечно, обреталась и сама Вера Инбер, которая в те годы была весьма знаменита. Настолько знаменита и популярна, что в двадцать девятом году, когда в праздничном октябрьском номере "Литературной газеты" был напечатан ее рассказ "Чувство локтя" без подписи и читателям предлагалось отгадать,

кто является его автором, иные назвали Лидина, Шкловского, Олешу, но большинство не ошиблось: Вера Инбер.

И вот три года спустя эта самая Вера Инбер, работая на репутацию искренней большевистской поэтессы, норовила убедить кого надо, что она, несмотря на свое паскудное прошлое, в действительности своя в доску. Но наоравшись вволю, что называется, во всю Ивановскую, хоть титул-то стиху был совсем противоположный, "Вполголоса", она во второй части переходит на доверительный полупшепот:

Пафос мне несвойствен по природе.
Буря жестов. Взвихренные волосы.
У меня, по-моему, выходит
Лучше то, что говорю вполголоса.

Но прошли те времена, когда тот, кто хотел быть любим советской властью, мог говорить про свою любовь к ней, про преданность ей до гроба вполголоса. И поэтесса, чуя новые запросы партии всем своим нутром, сбивается на высокие ноты, кои были в особой чести у юных пионеров, однако натура — да и возраст! — брали свое, и от этого противоестественного смешения получался весьма странный букет из живых цветов, полежавших уже, увы, на могильной плите:

Он (поэт), который с неохотой
Оторвался от бывлой главы,
Он, который в дни переворота
С революциями был на "вы",
Он, который, вырванный с размаху
Из своих ненарушимых стен,
Был подвержен страху смерти, страху
Жизни, страху перемен, —
Он теперь, хоть он уже не молод

И осталось жизни только треть,
Меньше ощущает жизни холод
И не так боится умереть.
И ему почти уже неведом
Страх перед последнею межой.
Это есть поэта победа
Над своей старинною душой.
И, живя и ярче и полнее,
Тот, о ком сейчас я говорю,
Это лучшее, что он имеет,
Отдает сегодня Октябрю.

Что поэт отдает лучшее Октябрю, это было уже не полуправдой, как в разговоре о социальной прослойке, — это было уже просто вранье. Но не в том грубом, примитивном смысле, что стихотворец взял да выработал себе программу, как бы похитрее да половчее околпачить советскую власть, прикинувшись совпатриотом по самую завязку, а в том деликатном, интимном смысле, что, прислуживая новым господам, поэт растерял все свое лучшее и в глубине души, конечно, знал, что растерял, однако, чтобы не дай Бог не подумали про него худого, бил себя прилюдно кулаком в грудь: во, все лучшее, что имею, отдаю сегодня Октябрю!

А лучшее, что составило ее первую славу, было у поэтессы уже позади. Речь идет не о лучшем в самом высоком смысле, ибо поэтическая звезда Веры Инбер ни в какие времена не сияла тем первозданным, неповторимым светом, по которому узнаются поэты Божьей милостью, речь идет лишь о лучшем в ее собственном поэтическом скарбе. Если женское жеманство, в коем для многих скрыто неизъяснимое очарование, может быть основой поэтической эманации, то, несомненно, Вера Инбер с годами основательно поубавила в своей прелесть, и поклонники ее могли лишь болезненно охать и доса-

довать на этот процесс утечки. В прежних стихах ее, как заметил один стихотворец, были и рессоры, и пружины, и покачивания шарабана, который назывался кэбом:

Мильй, мильй Вилли! Мильй Вилли!
Расскажите мне без долгих дум —
Вы кого-нибудь когда-нибудь любили,
Вилли-Грум?!

Вилли бросил вожжи... Кочки. Кручи...
Кэб перевернулся... сделал бум!
Ах, какой вы скверный, скверный кучер,
Вилли-Грум!

Даже и без фрейдовского психоанализа, ритмические покачивания кэба настырно влекут нас к забавной истории рыжей Селесты и краснорожего Полита из мопассановского "Признания", которые сделали, тоже покачиваясь на рессорах, свое нехитрое дело, свой "бум"! в дилижансе, влекомом белой клячей с розовыми от старости лошадиными губами.

Конечно, не для таких виршей делалась революция в России, и не для того большевики брали власть, чтобы очаровательная дамочка из Одессы, притоптывая ножкой, пикантно отсекала цезуру. Как было уже сказано, дама из Одессы, не теряя попусту времени, взялась за собственное политобразование и преуспела в этом настолько, что после посещения тогда еще всемогущего Льва Давидовича Троцкого, своего двоюродного братца, в Кремле тут же воспела его в стихотворной форме:

Ни колебаний. Ни уклона.
Одна лишь дума на челе,
Четыре грозных телефона
Пред ним сияют на столе...

Но вот загадочный феномен, мимо которого и литературоведы и психологи проходят как-то бочком: надрывая горло в поэтическом экстазе, тот же самый человек, обращаясь к прозе, обретает нормальный человеческий голос.

”...мы шли с Авелем Евсеевичем по улице. Заплеванный, заваленный шелухой и мусором, со снятыми вывесками, город был очень страшен. Пыльные смерчи шли по мостовой, как в пустыне... Внезапно перед нами побежали люди. Возле одного из домов стояла толпа, головы были подняты вверх, и пыль засыпала глаза.

— На чердаке, — говорил один. — Вон пожарную лестницу понесли...

Люди внизу медленно и страшно накалялись: каждый приготовил бранное слово и удар. Но вор обманул всех. Увидев себя окруженным со всех сторон, он бросился вниз из чердачного окна. Он не рассказал никому, на что надеялся. Хотел ли он спастись или предпочел умереть от падения, чем от побоев, — все это было неизвестно. Только он прыгнул и упал на тротуар. Он был уже мертв, он лежал страшно неудобно: руки были вывернуты назад, и в одной из них были зажаты полотенце и пара кальсон”.

Рядом с трупом вора внезапно упала и забилась в конвульсиях холерная.

”Что же это будет? — спросила я наконец. — Еще немного и в нашей стране не останется людей. Все умрут, кто же останется? Как жить?”

Но мудрый одесский еврей, химик Авель Евсеевич, — я забыл сказать, что дело происходило в Одессе, — который знал все на свете и знал всему этому цену, ответил Верочке, которая, несмотря на свои тридцать лет и несмотря на то, что сама была уже мамой, все еще оставалась девочкой:

”Не бойтесь. Были времена гораздо более тяжелые. В че-

тырнадцатом веке в Англии во время чумы вымерла треть населения. Дороги были пустынные, города одичали. Казалось, что цивилизация кончается. И имейте в виду, что это была чума, страшная болезнь средневековья, с которой не умели бороться и которая шла гибелью на человечество”.

В следующей фразе, столь же ядовитой, сколь и двусмысленной, авторша спешит состроить трогательную гримаску повергнутого в печаль эпидемиолога: ”Тогда была чума, теперь холера: разница не так уж велика”.

На Украине, откуда Верочка родом, говорят: ”Не вмер Данило, та болячка задавила”. И читатель, может быть, и не зная этой украинской мудрости, все же достаточно проницателен, чтобы понять Верочкин намек: хотя нынче не четырнадцатый век и не Англия с ее чумой, а Россия с ее большевистской революцией и холерой, — точнее, фраза звучит так, что сама большевистская революция и есть холера, — однако ощущение у нее такое, будто пришел конец цивилизации.

И опять на помощь Верочке, впоследствии рассказавшей об этом в своей автобиографической повести ”Место под солнцем”, является все тот же Авель Евсеевич, который хотя и ученый химик, но рассуждает, как типичный еврей, пессимист и скептик в отношении настоящего, но безусловный оптимист в отношении будущего: ”Мы страдаем во имя будущего. Я не сторонник переворотов: они мешают работать. Известно, что Эммануил Кант потерял рабочий день из-за Французской революции. Но если отрешиться от эгоизма ученого, нельзя не признать, что революции приносят пользу обществу”.

Однако, какое это имеет значение, приносят или не приносят революции пользу обществу: разве революции считаются с тем, что мы о них думаем, разве революции приходили и уходили по нашему хотению! Это мы должны подгонять себя под революцию, а не наоборот. А иначе мы уподобимся тому

известному на всю Балту портному, по имени Шимеле-дер поцевотер, которому так надоели всякие переделки по капризу заказчиков, что он предпочел провести остаток жизни в Одессе, на Слободке, где, хотя и в смиренной рубашке, но без спешки, без гвалта можно было рисовать себе картины светлого будущего. В этом будущем, мечтал Шимеле, не костюм будет подгоняться под клиента, а наоборот, клиент – под костюм. Впрочем, нечто похожее было уже в прошлом, у знаменитого греческого разбойника Прокруста, который укладывал своих гостей на ложе, чтобы было точно по мерке: если ноги были коротки, он ломал кости и вытягивал их, если были слишком длинны, он просто обрубал их.

Нет, Вера Инбер не хотела быть фаталисткой, не хотела покорно следовать извивам и капризам революции. Вера Инбер хотела, коль скоро революция была уже, как говорят в Одессе, факт, а не реклама, не просто служить ей, но направлять вместе с советской властью ее ход. И, преодолев первый страх перед неизбежным крушением мира, о котором мы только что узнали из ее разговора с Авелем Евсеечем, она сочинила в январе двадцать четвертого года стихотворение "Пять ночей и дней", которое на многие годы вошло в школьные хрестоматии:

И прежде чем укрыть в могиле
Навеки от живых людей,
В Колонном зале положили
Его на пять ночей и дней.

Отныне светозарный нимб, окружавший сиянием почившего, но, тем не менее, бессмертного Ильича, отбрасывал свои блики и на его псалмопевца. Точнее, псалмопелицу.

И опять возвращаемся к тому загадочному феномену, о котором была уже речь выше: в прозе ее, хотя и она держа-

лась, в общем, установленного режимом фарватера, не было, однако, слышно трубных гласов революции. Нет, голос революции, конечно, был слышен, но это был довольно будничным голос, в котором начинали пробиваться патетические нотки, когда... — когда б, вы думали? — когда заходил разговор о евреях.

”Пустите его, — закричал отец совсем громко. — Я не позволю. — Он бросил золотой будильник, и тот зазвенел. — Пустите меня к нему”. — ”Сумасшедший жид... Разбил часы... Жид... Часы...” Дальше мы уехали из Томашполя и поселились в Бобринце. Жить там стало для нас невозможно”.

Этот рассказ Абдалаха-Ага из Бенареса, укротителя змей, которому настоящее имя было Копельман-младший. К слову, еврей-фокусники, и не только фокусники, занимали непропорционально большое место в истории русского цирка — факт, который вполне заслуживает внимания цирковедов. Однако не об этом сейчас речь. Так вот, Копельман-младший, рассказал эту историю Зое Свербеевой— в имени ее отца как раз произошел случай с его отцом-часовщиком и золотым будильником, — у которой было не то чтобы редкое, но обостренное обоняние: все евреи смердели для нее чесноком. Рассказ так и называется: ”Чеснок в чемодане”. И думала Зоя про евреев всегда тремя словами: ”Какая нахальная нация!” Однако после встречи с Ага-Абдалахом из Бенареса, который на самом деле, как сказано, был Копельман из Бобринца, Зоя, ненавидевшая революцию и чурающаяся всего красного, вышила новую подушку: ”По красному фону извивалась превосходно вышитая змея, у которой, если присмотреться внимательно, были близорукие и добрые глаза Копельмана-младшего”.

Ну что ж, прямо скажем: история довольно идиллическая. Конечно, в жизни все возможно, и не исключено, что какая-то мешаночка, по имени Зоинька Свербеева, действительно пере-

менила к лучшему свое мнение об евреях после встречи с Копельманом-младшим, которого приняла поначалу за какого-то паршивого жида-торгаша. А жид-торгаш вдруг оборотился бродячим актером, заклинателем змей, то есть прямым родней скоморохам, кои спокон веку были потехой и веселием Руси. О родословной скоморохов стоило бы поговорить особо, но всякому овощу свое время. Здесь же ограничимся только ссылкой на шедевр мирового кино XX века, фильм "Андрей Рублев", где режиссер-постановщик Андрей Тарковский, подчиняясь своей художнической и исторической интуиции, выбрал на роль скомороха Роллана Быкова, чьи манеры и физиогномия вылеплялись его соплеменниками-иудеями в веках.

А теперь вернемся к нашей истории. Так вот, что какая-то дамочка, которая одинаково ненавидела и советскую власть, и евреев, могла вдруг — любовь, она всегда вдруг! — почувствовать любовный укол в сердце, повторяем, вполне возможно. Но допустить, что это было явление широкое, как говорят литературоведы, типичное, пардон, никак невозможно. Все воспоминания и рассказы о дружбе и любви между евреями и не-евреями, какие царили в стране Советов до войны, — это бред, это галлюцинации людей, которые всю жизнь внушали себе, что любят других, и на этом основании делали себе душевный презент: раз я люблю, значит, меня тоже любят. Сегодня в Нью-Йорке чуть не каждый день можно услышать те же самые байки: "Я лично не чувствовал (не чувствовала) никакого антисемитизма". Правда, эти же люди в Вене, в Риме и здесь, в НАЙАНе, в ХИАСе, в синагогах, где есть шанс немножко обуться, одеться и подкормиться от щедрот американских евреев, объясняли, как они страдали — "Ой, вы даже не можете себе представить, как мы страдали!" — от антисемитизма в России. Говорится это, впрочем, не только ради того, чтобы получить пару лишних шмуток или расположить к себе уважаемого, то

есть могущего пристроить где-нибудь к делу, еврея, а еще и по той причине, что надо, как объясняли им в Риме, подвести себя под статус политического беженца. А гражданская дискриминация, хотя бы и по пятой графе, – это уже политический аспект. "А так, Боже мой, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь сказал мне "жид" – чтоб мои дети имели столько болячек!" Ну, ясное дело, болячек своим детям не желают даже самая черствая мама, даже самый холодный папа.

Кто же эти люди: клятвопреступники? лжесвидетели? лицемеры? Ни то, ни другое, ни третье: просто, когда человеку сегодня трудно, он вспоминает вчера и говорит себе, что вчера было легче. Такова человеческая психология – и тут ничего не поделаешь. Так устроила природа. Хорошо или плохо, это другой вопрос. Но факт есть факт, а факты, как учил товарищ Сталин, – упрямая вещь.

Но кроме этих фактов, есть и другие факты. Причем такие факты, что от них волосы дыбом встают и вообще жить не хочется.

Автор идиллической истории про юдофобку Зоиньку, зачавшую перестраиваться по встрече с факиром Копельманом чуть не в филосемитки, двадцать лет спустя, когда готовилась под началом Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга знаменитая "Черная Книга" об истреблении евреев, рассказала факты, от которых волосы дыбом встают и вообще жить не хочется. Набор книги, подготовленной к печати в 1948 году, когда с благословения товарища Сталина взялись по всей Руси травить-громить космополитов, был уничтожен. "Черная Книга" увидела свет лишь треть века спустя, в 1980 году, да и то не в родимой Москве, а в Иерусалиме. Главу о том, как были истреблены сто тысяч одесских евреев, написала Вера Инбер.

"На степной равнине Одесской области, в стороне от железнодорожной станции Колосовка есть село Градовка. ...На окра-

ине села три варницы, печи для обжига известняка...

Перед варницами людей раздевали донага, выстраивали у края шахты и расстреливали в упор из автоматов, стреляли, главным образом, в голову. Осколки хрупких черепных костей разлетались в стороны, их не убирали. Трупы падали в печные шахты.

Когда шахта наполнялась до краев, трупы обливали керосином. Пучки соломы заранее были разложены по углам. Жир (а еще говорят, будто евреев в гетто морили голодом и остались от них кожа до кости! — А.Л.), вытапливаясь из трупов, усиливал горение. Вся округа была затянута дымом, отравлена смрадом горящего человеческого мяса...

В трех варницах было сожжено около 7 тысяч человек..."

На станции Березовка делали проще: сгоняли людей в кучу, обливали бензином и поджигали. Десятки тысяч жителей окрестных сел и хуторов видели эти костры, озарявшие степь на много километров вокруг. В Доманевке "раздирали надвое детей, ухвативши за ноги, били головой о камни, У женщин отрезали груди".

27 марта 1944 года представителями Красной Армии, властей и населения был составлен акт об убийстве 15 тысяч евреев в Доманевке и 54 тысяч в Богдановке. Среди убитых и сожженных были моя тетя, мой дядя и пятеро двоюродных братьев и сестер.

Теперь вопрос: кто убивал? Ну, ясное дело, убивали оккупанты — румыны и немцы. Кроме того, рассказывает, со слов очевидцев, Вера Инбер, главными палачами были немцы-колонисты из ближних сел Рахштадта, Мюнхена и прочих. "Как на праздник, съезжались они к степным варницам. Они грабили с наслаждением. Убивали со сладострастием".

Но только ли немцы-колонисты? Нет, не только. Что не только, мне рассказывали одесситы Людмила Мельниченко,

Евгений Присовский, Сергей Полищук, Иван Шкуренко – люди, которые не могли молчать. Рассказывали и жители северных районов Одесской области, куда я ездил по своим корреспондентским делам. Никто не тянул их за язык: сами рассказывали. Почему рассказывали? Да потому, что так устроен человек: выговоришься – и полегшает на душе.

Конечно, не все подались в убийцы и каратели. Находились среди селян, среди горожан и другие – те, что спасали. Спасали, рискуя собственной жизнью. А иные, как Варвара Лапина, и платили ею. Ну что ж, не перевелись еще, слава Богу, люди на земле. Здесь, в Америке, у меня есть знакомые евреи из Одессы, которых спасли украинцы и русские. Одни из них, вопреки факту собственного спасения, утратили веру в людей, а про Бога, что он есть, и слышать не хотят. Другие, напротив, из хулителей и поносителей Божьего имени, какими были они в пионерские и комсомольские свои годы, подались в рьяные богомолы и приткнулись к вере своих спасителей – к православию.

Так вот, спрашиваем мы: как же сообразовать все это с гимном, ну пусть не гимном, а благовестом во славу надвигавшейся дружбы народов, захватившей и зоологических ненавистников поганого Иудина племени, которые, как в рассказе у нашей писательницы, даже ползучего гада, змея, норовили облагородить, подрисовав ему ”близорукие и добрые глаза” местечкового еврея!

Бекицер, зачем понадобилась эта туфта, эта подделка Вере Инбер? Оставим сейчас в стороне высокие проблемы поэтики, а выберем своим фокусом исключительно этику. Так вот: гнала свою туфту писательница – напоминаем, в те годы уже с именем – по заказу советской власти или по велению сердца?

Отвечаем: по заказу советской власти и по велению сердца тоже. Точнее, наоборот: по велению сердца, а также по заказу советской власти. Кто более всех мечтает о равенстве? Бесправный. Кто более всех жаждет любви? Нелюбимый. Кто бо-

лее всех тянется к согласию? Тот, кто устал от вражды.

Евреи были бесправны, евреи были нелюбимы, евреи устали от вражды. И писательница Инбер, одесская еврейка, девушка из хорошей семьи, которая очень хотела, чтобы в мире было хорошо, всячески подрумянивала мир, где было не так уж хорошо. И в этом подрумяненном мире, с его эфемерными лозунгами всеобщего братства и всеобщей любви, сбились в одну кучу потомственные жидоморы и евреи с "близорукими и добрыми" глазами, через которых они, эти жидоморы, приобщались к светозарному царству пророка Йешаягу (Исаии): "Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их" (11:6).

Как, однако, получилось на деле, в неподрумяненном мире, мы уже знаем на примере Бабьего Яра, а также на примере Доманевки, Богдановки, Градовки, Березовки, история которых, писанная рукой Веры Инбер, занесена в "Черную Книгу" — самую черную книгу не только в летописи евреев, но в летописи всего человечества. История, впрочем, весьма односторонняя, в последующие годы несколько дополненная судебными процессами над полицаями, жандармами и всевозможными доброхотами из туземного населения, на совесть потрудившимися по части извода Иудина племени.

Конечно, как говорил Петя Корж, из мужского салона на Тираспольской площади, все мы мастера предсказывать погоду на вчера. Но, с другой стороны, как не подивиться тогдашним поэтам и писателям из евреев с розовыми их прогнозами на будущее, если можно сказать, только пару лет назад, в дни гражданской войны, между Доном и Бугом вырезали двести тысяч их родичей! Неужто всерьез они верили, что вот так, по щучьему велению, по ихнему хотению, переделается тысячетлетняя психология!

В 21-ом году, еще не вполне опаматовавшись от страха перед неизбежным концом мира, о коем узнали мы из разговора ее с мудрым одесским евреем Авелем Евсеевичем, Вера Инбер сочинила знаменитые свои вирши "Фоксокот", выполненные с чисто женским притопом:

Как объяснить сей парадокс?
Сам черт себе тут сломит ножку:
Случилось так, что некий фокс,
Что фокстерьер влюбился в кошку.

И нежно-приторен стал фокс,
Он пел, рыдал румынской скрипкой,
Он говорил: " У ваших ног-с
Готов я умереть с улыбкой.

Я дал бы хвост мой отрубить,
Когда бы не был он отрублен,
Чтобы поехали вы жить
Со мной в Чикаго или Дублин.

В стране, где выдумали фокс,
Ничьи б не привлекало взоры,
Что молодой шотландский фокс
Женат на кошке из Ангоры".

И кошка, женщина в летах,
Прельстясь мальчишескою страстью,
Сложила вещи впопыхах,
Бросая родину для счастья.

Среди маисовых полей
На ферме зажили супруги,
Вкушали лук и сельдерей
И обходились без прислуги.

И ровно, ровно через год
У них родился фоксокот.

Опустив гражданскую и политическую мораль, преподанную нам в этих виршах, сосредоточим свое внимание на плодах инбридинга, которые тоже весьма поучительны. От любви фокса и кошки произошло некое нелепое животное: фоксокот. И заметьте, все стихотворение для того и писалось, чтобы показать: из противоестественной любви, вдали от родины, даже в благословенной Америке, может произойти только нечто противоестественное. А ведь вся-то противоестественность здесь в том, что какая-то "женщина в летах, прельстая мальчишескою страстью, сложила вещи впопыхах, бросая родину для счастья". Помилуйте, да какая же здесь вообще противоестественность: просто небольшое отклонение от средней нормы, не от нормы вообще, а именно от средней нормы! А тем не менее, смотрите, какая химера получилась: "не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка"!

И вот, зайдя с другого боку, опять не можем не подивиться: при таком ясном понимании природы вещей, как же можно было и себя и других оболванивать всякими рассказами о Вавилонской башне, которую человечество за все предыдущие тысячелетия своей истории построить не смогло, а вот таперича, под советской властью, под большевистской партией, таки-возьмем — да построим!

Ну уж нынче, во дни, когда от Черного и Балтийского до самого, до Охотского моря, "где кончается Дальний Восток", разгулялись на Руси и национал-большевики, и националы из союзных да автономных республик, последнему дураку ясно, что не построить большевикам Вавилонской башни, сколько бы ни талдычили они о "новой исторической общности, едином советском народе". Но было время, как видим, когда в угаре революции, прельстая ее лозунгами, люди, вопреки здра-

вому смыслу, вопреки опыту собственной жизни, мало того, что сами себя морочили, так еще других сбивали с панталыку.

И в эти же заревые годы, во власти собственной фанаберии агитаторов, горланов, главарей, инженеры человеческих душ, которых родной отец и мудрый учитель всех народов тогда еще не возвел во дворянское достоинство по-советски, объясняли, что главное в человеческой жизни — это счастье классовой борьбы, это вечная баррикада, естественно, с той ее стороны, где засел пролетариат со своим вековым оружием, булыжником.

”Прицкер тоже интересовался политикой и с жадностью читал московские газеты.

Придя из магазина к себе домой, в самую низкую часть Орши, ежегодно заливаемую Днепром, и будучи вдов, он делился соображениями со своим сыном Исайчиком. Исайчик, рожденный туберкулезной матерью, всегда болел, вставал редко и был прозрачно-желт, что не мешало ему иметь вполне определенные взгляды на жизнь...

— Я тебя не понимаю, Прицкер, — говорит он, называя отца по фамилии, как и вся остальная Орша, — что ты за человек? Человек ты или нет? Не можешь ты сказать своему Хаиму...”

Хаим — это Хаим Егудович, хозяин лавки, где работает Прицкер. Что должен сказать хозяину работник, которого сын, имеющий ”вполне определенные”, то есть революционные, взгляды на жизнь, заклинает быть человеком, объяснять не надо.

”Ой, Прицкер, что мне с тобой делать? Ты же вылитая овца”, — входит в раж Исайчик, который точно знает, как надо переделать мир, чтобы из плохого он превратился в хороший.

Короче, разговоры с сыном пошли Прицкеру впрок. Прицкер говорит сыну: ”Керенский меня тревожит”.

Чем это тревога, которая захватила всю тогдашнюю Россию, кончилась для Александра Федоровича, знают все: 25 октября семнадцатого года, в 10 часов утра, министр-председатель Временного правительства Керенский бежал из Петрограда на американской машине, которую, как рассказывает сэр Бьюкенен, он будто бы одолжил у секретаря посольства Уайтхауза, а спустя полсутки, немножко позже, в два часа пополуночи, "государственный преступник Ульянов-Ленин", как Александр Федорович называл его еще вчера, стал хозяином России: Земля, прохваченная космическим сквозняком, вздрогнула — и пошел новый счет времени.

Того же, октября 26 дня 1917 года, "и они (Прицкер с товарищами) взяли лучший шелк, красный, как перец, и тяжелый, как сметана... С этого дня печень Хаима Егудовича окончательно развинтилась".

Вэй из мир, развинтилась, и не у одного Хаима Егудовича, а у всей России, да что там России, — на сегодняшний день чуть не у половины мира развинтилась! А печень, не надо быть доктором, чтобы это знать, такая штука, что если она развинтилась, так можно ждать, как говорила мадам Цупник, страдавшая циррозом, на такие цурес, что только бы нашим врагам пожелать. Вы сами понимаете, какие цурес имела в виду мадам Цупник.

Однако поговорим о чем-нибудь более веселом. Например, об убежденных людях, которые на все сто процентов верили в свою правоту. Большой еврейский поэт Ханаан Вайнерман, пусть земля ему будет пухом, когда он был еще с нами, в этом мире, где праведным дано усмотреть Шехину, то есть Божье присутствие, говорил мне, воротясь в родную Одессу с Колымы, которая за многие годы стала для него почти второй Одессой: "Революция — это передышка в веках отчаяния: люди, которые были ничем, вдруг, в одну ночь, делаются всем. И

начинают направо-налево рубить головы. Право дала им революция. А сама революция откуда? Революция — от веры. Но приходит время — и за свою веру они должны платить уже не чужими головами, а своей собственной. Но заметьте, они имели великую передышку: у них была идея, они верили. А что такое человек без веры? Человек без веры — это, простите, животное”.

Секретарь редакции Андрей Петрович пришел к сапожнику Коринкеру, у которого дочь Цецилия, ”18 лет от роду, белая, темно-рыжая и сладкая, словно кокосовый орех”.

”Вот вы говорите, молодой человек, — обращается он (Коринкер) к секретарю редакции, — что мы идем по пути прогресса. Но если мы идем по этому пути в ваших, например, штиблетах, извините, то мы далеко не уйдем...

— Товарищ Коринкер, — возражает секретарь редакции, крепко потирая бритую голову, — вы сидите в подвале, и от этого у вас нет правильной перспективы, нет правильного взгляда на вещи. Вы видите только ноги и по ним судите. Конечно, нам трудно, но зато мы правы”.

Слышите: ”нам трудно, то зато мы п р а в ы”! В те годы еще разрешалось говорить, что нам трудно. Это потом уже распелись: ”Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей!”

Но вера — это вера, и когда она есть, так она есть. В революцию, пусть не у всех, но была она у многих. А в России, где было сто пятьдесят миллионов человек, у многих — это у миллионов. У десятков миллионов.

Среди них был и Лева Гойх, вундеркинд из Одессы.

”Одесса пустела, глохла, разрушалась. Дома из хрупкого желтого камня каждой своей трещинкой вопияли о ремонте, но их огораживали веревкой и не ремонтировали. Море подсыхало безвольный берег. И когда с сырым шуршаньем оседала земля, обнажая корни трав и фундаменты домов, волны отбегали далеко назад и там шумели: ”...мы вас покроем. Мы все

себе заберем. Скоро на вашей Соборной площади будут рыбы плавать...”

Порт был чист и тих. Склады еще пахли чаем, сургучом, Индией и Китаем, но были пусты”.

В этой, почти безжизненной, пустыне, которая когда-то звалась Одессой, обитал Лева Гойх, про которого не нужно объяснять, какого он был роду-племени. ”Илья Абрамович Гойх, Левин папаша, хлебный маклер, всю жизнь любил Одессу и ненавидел город Николаев, который воображал, что он тоже соперник в хлебном деле, и даже выстроил элеватор. Но теперь хлебное дело сделалось наименее хлебным их всех...”

Илья Абрамович мечтал: ”Одессе дадут порто-франко, и город оживет, о чем говорить. А Николаев – превратится в ноль”.

Но прошел год, прошел другой, порто-франко Одессе не давали, кушать было нечего, топить было нечем, и лудильщик в подвале под Гойхами мечтал: ”Если б можно было лудить холодным способом”.

Однако время, плохое оно или хорошее, не стоит на месте, и однажды вечером Лева, почти второй Шопен, ”проиграв полтора вальса и один ноктюрн, вышел на балкон очень бледный и, стиснув зубы, заявил, что он едет...”. Левочке, которого пока, поскольку Шопен не самоокупался, папа пристроил к кожевенному делу, так обрыдло это кожевенное дело, что он готов был на край света бежать, только бы там были ”две вещи: кровать, чтобы спать, и пианино, чтобы играть”. Ну, про край света сказано сгоряча, а на самом деле Лева стремился в Москву, в столицу, где ”должен быть спрос на все, в том числе и на Шопена”. Тогда в Одессе пошла мода на Москву. Знающие люди утверждали, что в московских учреждениях не меньше двадцати пяти процентов одесситов.

Увы, Лева немножко просчитался: Москве действительно

нужен был Шопен, но — не забывайте, Революция в те года еще вздвухала свои горны! — не совсем тот, которого мог предложить Лева Гойх.

И гражданин Икс из школьного учебника, по которому училась вся страна, припер Леву, что называется, к стене: "Жизнь отвратительна, говорите вы. Так давайте же исправим ее... Для этого вы прекрасно вооружены искусством, этой редкостной дальнобойной винтовкой, чьим стволом вы пользуетесь как кочергой, помешивая ею пепел воспоминаний".

Эпоха: в одной фразе и дальнобойная винтовка, и кочерга, и пепел воспоминаний — вот уж где, выражаясь языком самой авторши, "сам черт сломает ножку"!

Но гражданин Икс, воспаленный собственным партийным красноречием, не замечал Левина смятения и резал с той же силой: "История оказала вам честь, выпустив вас на свет в отличную эпоху. Трудовое человечество освободит неисчислимые киловатты собственной энергии... Обособленного искусства не будет, потому что им будет пропитан весь быт".

Обособленное искусство, по пролеткультовской философии тех лет, это искусство для одиночек. А одиночки — это люди, получившие хоть какую-нибудь подготовку, чтобы понимать искусство. Но что же это, туды его в качель, за искусство, ежели требуется подготовка! Не, такое искусство массам не требуется, и не для того делали революцию. А для того, чтоб в концерте зазвучал "Шопен, не тот, которого знаете вы", а другой — Шопен будущего. Над этой музыкой будущего, как над водопадом, встанет радуга.

И Лева Гойх, музыкальный мальчик из Одессы, у которого от грандиозных перспектив в зобу дыханье сперло, нашел силы только воскликнуть: "Когда же?"

Ну какова была эта музыкальная радуга будущего, которое теперь, полвека спустя, уже оборотилось в прошлое, мы знаем:

достаточно вспомнить хотя бы партийные резолюции насчет какофоний Дмитрия Шостаковича, оскорблявших чуткие уши советского народа. Сделаем, впрочем, небольшое уточнение: это не сам народ говорил, что его оскорбляют "какофонии Шостаковича". Это бонна его, партия, объясняла ему, какая все это бяка и как вредна она для ушей его, для вкуса его, а главное, для духа.

Рассказ про Леву Гойха назывался "Уравнение с одним неизвестным". Это было в двадцать шестом году. Время, как видим, решило это уравнение: неизвестное стало известным. Не для всех, конечно: для тех, кто остался в живых.

Своей лирической хронике "Место под солнцем", опубликованной в 1928 году, Вера Инбер предпослала четыре строки из Тютчева:

Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и свободы:
"Я поздно встал – и на дороге
Застигнут ночью Рима был!"

Позволим себе дополнить этот эпитаф еще двумя строками из того же стихотворения "Цицерон":

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

В роковые минуты, когда Вере Инбер казалось, что мир кончается, она отправилась для утешения к своим, к евреям, обретшим уже вечное успокоение: "...мы заглянули в склеп знаменитого цадика: там за решеткой были каменные скрижали, мерзость запустения, жирный мрамор и опрокинутые лампы... Памятники были расхищены, все было голо и безрадостно, как сама смерть". Кого-то хоронили, издали донесся конец надгробного слова: "Он жил и работал". Ее спутник сказал: "Это напоминает мне эпитафию на могиле одной греческой танцовщицы: "Плясала и нравилась".

Надо ли объяснять, что ни эпитафия, ни эпиграф, ни эти воспоминания, когда советская власть уже повернула на свой второй десяток, не были случайным капризом памяти писательницы. Эльза Триоле однажды, перечитывая свою прозу, поразились, как властно отразились в ней конкретные заботы и обстоятельства тех дней, когда эта проза писалась. Неодолимое влечение Веры Инбер к своим минувшим печалям, несомненно, было той же природы.

В годы ленинградской блокады она сочинила свой знаменитый "Пулковский меридиан", который, прилетая специально для этой цели из осажденного Ленинграда в Москву, читала членам ЦК.

Позднее она опубликовала свой ленинградский дневник "Почти три года". За каждым названным здесь ленинградцем, погибшим в блокаду, стоят тысячи неназванных. Есть страницы, над которыми хочется закрыть глаза, обхватить голову руками — и ничего не видеть, не слышать, не помнить.

Но не будем играть в прятки: ни поэма, ни дневник не дают того чувства душевной раскованности, которое дает ее проза двадцатых годов, хотя в войну дозволялась, несомненно, большая доза искренности, нежели накануне, в гекатомбы тридцатых. Однако линия была уже задана на десятилетия вперед, даже смерть Сталина не внесла кардинальных перемен в эту линию:

И каждый, кто счастлив по праву,
Откликнется сердцем своим:
Великому Ленину слава
И партии, созданной им!

Эти рифмы писаны Инбер в пятьдесят седьмом году в поэме "Свет Ленина", когда ей было уже под семьдесят. Но еще за двадцать лет до этого, в тридцать седьмом, она внесла в свою записную книжку: "Мысль написать к 20-й революции поэму о

brate Ленина, Александре. Но так, чтобы это была поэма собственно о Ленине". А чуть попозже, год спустя, как памятку, она начертает в той же книжечке афоризм Виктора Типоти: "Скромность — лучший путь к забвению". Вот тебе и "пафос мне несвойствен по природе", вот тебе "у меня, по-моему, выходит лучше то, что говорю вполголоса"!

В пятьдесят девятом, в чудеснейшем месяце мае, в подмосковном раю, Малеевке, трепетной рукой она выводит в записной своей книжечке заповедь для себя и для других: "Каждую пятницу в 10 часов утра по радио дается нота "ля" для всех музыкальных инструментов Советского Союза. Пусть наша литература будет такой чистой нотой, звучащей на весь мир". И строкой пониже: "Голуби над Уффици во Флоренции. И тут же американские истребители".

Конечно, найдутся люди, готовые усмотреть в этом обыкновенный старческий маразм. Пусть так. Но ведь и маразм не с неба сваливается: у каждого свой маразм.

Но не к этому, как говорили кишиневские евреи, доводы: все это заносится в собрание сочинений — для вечности. В те же тома, где нашла себе место история портного Эммануила Соловья, философа, шлимазла, и его жены Розы.

Вот эта история.

Жил-был в Минске портной Эммануил Соловей. У него были голубые глаза. Такие голубые, что, казалось, "еврей все еще плавает в ковчеге и наблюдает мир с араратской высоты".

Заказчики приходили в ужас от этих глаз: заказчики дрожали за свое добро. Но "портной Соловей перерождался за работой. Его мистические глаза суживались, как

у заклинателя змей... Соловей, невзирая на булавки во рту, пел избранные песни из Песни Песней, переложенные им самим на музыку. Особенно любил он благоуханную фразу Суламифь: "Подкрепите меня вином, ибо я изнемогаю от любви".

Роза, жена Соловья, кричала своему пятилетнему Изе: "Изя, перестань вбивать гвоздь! Кому я говорю. Ты же слышишь, отец поет "я изнемогаю от любви". Это значит — он приступил к рукавам".

Роза ревновала Соловья к толстой Клавдии Макаровне: "Почему эта женщина... почему эта Клавдия смотрит на тебя вбок? Почему она на меня смотрит вбок? Потому что у нее грязная совесть... Эммануил, Ньюма, я тебя уверяю, что она тебе нравится".

Сердце не обмануло Розу: любовь-таки настигла ее Ньюму. Но совсем с другой стороны. И кроме того, это была чистая, как у Пигмалиона с его Галатеей, любовь художника к своему творению: Соловей влюбился в женщину, для которой он шил галифе. Не тогда влюбился, когда она приходила еще на примерку, а тогда, когда увидел эту женщину, в сшитых им галифе, на экране. Это был роковой момент в его жизни: портной Эммануил Соловей, про которого на дверях мастерской написано "исполняет заказы, как штатские, так и военные, а также принимает в починку", навсегда потерял покой.

Еврей-шнайдер, но какой — шнайдер-Пигмалион! — такие истории сочиняли в далекое-далекое время советские писатели-евреи про своих пейсатых сородичей.

"Наши дни на земле тень" (Иов, 8:9). Не будем обманывать себя: не только партийные сочинения Веры Инбер из Одессы, где есть переулочек ее имени — "Ах, у Веры! Ах, у Инбер!" — но даже "Соловья и Розу" человечество едва ли положит в сундучок, где хранятся сокровища мировой литературы.

Но, сокровища не сокровища, а нам, евреям, — а почему, собственно, только нам! — прямой резон самим послушать и детям рассказать историю девушки из хорошей еврейской семьи, которая, пока советская власть не возражала, помнила, какие гены были дадены ей бобринецким ее папой. А потом, когда советская власть сделала кислую гримасу и закричала еврею "ату его, ату!", доверила все свое еврейство любимым своим таксам, по кличке Беня Крик третий и Беня Крик четвертый.



ПЕСНЬ О РЕБЕ

Среди записей, которые обнаружили у него в письменном столе после смерти, была такая: "Я сравнительно легко переношу свои несчастья. ...Мне хочется вспомнить один прекрасный рассказ Мопассана. В этом рассказе дольше всех танцевавшая маска упала без сознания. Под маской оказался шестидесятилетний старик. Он не хотел уступать свое место всегдашнего победителя, но сил у него не хватило. Так вот, этот рассказ Мопассан написал не про меня. Я еще не скоро упаду".

Старая как мир история: раз пришло человеку время уверять себя, что он еще не скоро упадет, значит, что-то уже не так — здоровый не думает о здоровье, сытый не думает о куске хлеба.

Другое дело, что в данном случае речь вообще шла о другом: не о том, когда упадет человек, скоро или не скоро, а о том, что человек привык держаться на ногах, всегда ходить в победителях, и, чтобы сохранить не только в чужих, но и в собственных глазах свое реноме всегдашнего победителя, он уже не мог обходиться, — а очень может быть, и никогда раньше не мог — без маски.

Разве острить, хохмить, каламбурить всю жизнь напролет, буквально до последней секунды, до последнего вздоха, идет от какого-нибудь другого желания, а не от желания быть всегда победителем?

Так весело,
Отчаянно
Шел к виселице он.
В последний час
В последний пляс
Пустился Макферсон.

Конечно, поэт не разбойник, которого ждут тюрьмы короля, гладкие столбы и петля — советским поэтам доставалась пуля в застенках ЧК и обыкновенная смерть дистрофика в Соловецких кельях и на Колымских просторах, как всякому другому, — но разве вся его жизнь это не сплошное шествие к виселице, сколоченной общими усилиями собственного его тщеславия и читательского суда? Разве последней казни, казни смертью, не предшествовал каждодневный ряд малых казней — мелочных уколов, отравленного самолюбия, мерзостей быта, вечного безденежья, нищеты и прямого попрошайничества?

Он сам говорил про себя: "Вечно без денег — это мое наследство от отца". В ресторане Московского дома литераторов каждый почитал за честь, чтобы Миша Светлов подсел к его столу. Ему перевалило уже на седьмой десяток, а всякий сморчок называл его Мишей. Пушкина стало коробить амиокошонство в тридцать, Светлов потянул вдвое дольше. Но в шестьдесят он тоже не выдержал и сказал сморчку: "Ну к чему такие церемонии? Зовите меня просто — Михаил Аркадьевич".

Светлов подсаживался к столу, опрокидывал стопку — опрокинуть стопку он любил всю жизнь — брал салфетку, шурился, записывал несколько слов и откладывал салфетку. Салфетки за ним подбирали и прятали.

— Миша! Поздравляю вас! Господи, неужели я вижу живого классика?

— Полуживого.

Но платил не он — платили другие. В двадцать пятом, когда партия собралась на знаменитый свой съезд индустриализации, положивший плановое начало великому всероссийскому голоду, он сказал, обращаясь к своему кумиру, Гейне, о главном своем наследстве — безденежье: "Милый, денег нет! Ты знаешь, после дней борьбы трудно поэтам жить. И шелест денег я забыл, и что на них можно купить".

В двадцать девятом, когда со всех сторон партия дудела в свои трубы о великом переломе, о новой революции — бедняк и середняк миллионами попер в колхоз! — ”комсомолец двадцатого года” Миша Светлов, который тогда еще не забыл, что в родном его городе Екатеринославе звали его Мотькой, написал стихи под названием ”Смерть”: ”Каждый год и цветет и отцветает миндаль... Миллиарды людей на планете успели истлеть... Что о мертвых жалеть нам! Мне мертвых несколько не жаль! Пожалейте меня! — Мне еще предстоит умереть!”

И так всю жизнь, до последней своей смерти, в шестьдесят четвертом году, он умирал десятки, сотни раз, как будто жизнь была беспрестанной репетицией смерти: начиная всерьез, он кончал шуткой, начиная шуткой, он кончил всерьез. Узнав, что у него рак, он попросил друзей принести ему пива, ”а раки, — сказал он, — у нас свои есть”.

Балагур, остряк, местечковый мудрец, он прирос к своей маске до того прочно, что уже ни сам он, ни кто другой не могли его оторвать от этой маски. Именно так: не маску не могли отодрать от него, а его не могли отодрать от маски, ибо он уже не был хозяином своего лица — маска стала его хозяином. Его приятель художник Иосиф Игин, такой же, как и он, местечковый хухим, сделал книгу рисунков ”Улыбка Светлова”. Книгу эту следовало бы назвать иначе: ”Маска Светлова”.

Понимал ли это он сам, вечно голодный, оборванный мальчик из капцанской семьи, которого до сих пор в родном его Екатеринославе-Днепропетровске помнят еще как Мотьку, сына Рахили Ильевны, такой преданной мамы, что даже среди еврейских мам она была редкостью?

Безусловно, понимал. И не только понимал, но даже в годы поэтического бохерства сам давал объяснение этому в знаменитом своем стихе ”Письмо”: ”К моему смешному языку ты не будь жестокой и придирчивой, — я ведь не профессор

МГУ, а всего лишь скромный сын Бердичева... Вот ты думаешь, что я чудак: был серьезен, а кончаю шуткой. Что поделывать! Все евреи так — не сидят на месте ни минутки”.

Видите не он, Мотька, один такой, а вся его родня, ”все евреи так — не сидят на месте ни минутки”. Тут поэту можно было бы заявить небольшую претензию, ибо идею свою он выразил не наилучшим образом. Что это значит: ”евреи не сидят на месте ни минутки”? Все они, что ли, непоседы, у которых, простите, шпильки под одним местом? Или, еще того убоже, обыкновенные ветрогоны, которые, как флюгер, то туда, то сюда?

Слов нет, и непосед, и ветрогонов, и всякого фасона праздношатающихся среди евреев, слава Богу, хватает. И сами евреи знают об этом лучше, чем кто бы то ни было другой. Но не об этом сейчас речь. Речь о другом: о том, что еврей, какой бы ни был он серьезный, как бы серьезно ни начинал, обязательно кончает шуткой. И не такой шуткой, чтобы просто повеселить людей, позабавить, а такой, чтобы свести на нет всю свою серьезность. Ибо серьезность, очень часто, это почти то же, что значительность. А века испытаний, века скитаний выработали у еврея четкую философию: лучше казаться маленьким, чем большим, лучше притворяться слабым, покорным, чем открыть свою настоящую душу, упрянца и бунтаря. Кроме того, в мире, где оболочка дана вещам, дабы скрыть их сущность, надо быть, как учили наши отцы, воистину мудрым, чтобы отличить победу от поражения.

Вот пример истинной мудрости. В 1263 году король Арагона устроил диспут между христианином, крещеным евреем Пабло Кристиани — все религиозные диспуты средневековья, устроенные императорами и королями, велись, как правило, между двумя евреями, крещеным и некрещеным, — и рабби Моше бен Нахманом, известным под именем Рамбана. Диспут продол-

жался четыре дня в присутствии короля и его приближенных. Рамбан, врач, мистик и крупнейший знаток Талмуда, взял верх над мешумедом, представлявшим христианскую церковь, и — что особенно важно! — король признал его победу и отпустил его с подарком. Казалось бы, что может быть более надежной гарантией, чем королевское признание, подкрепленное королевской наградой?

Но греш цена была бы мудрости великого рабби Моше бен Нахмана, если бы из этой своей победы он не сделал единственно правильный вывод: убраться из Испании подобру-поздорову, пока не поздно. Истинный мудрец, он понимал, это не тот случай, когда победителей не судят. Рядом, во Франции, в аналогичной ситуации, как только определилась победа еврея, рыцарь, приближенный короля, размозжил еврею голову, чтобы в другой раз не побеждал. Размозженная голова, каждый понимает, не лучшая награда за победу. Но, с другой стороны, можно понять и христианских королей с их христианскими церковниками: если еврей прав, значит, права синагога, а церковь неправа. Но, подумайте сами, как церковь — в данном случае католическая церковь — может быть неправа, если папа, как известно всем, непогрешим. А еврей, это тоже известно всем, в том числе самому еврею, погрешим и еще как погрешим!

Словом, даже победив, еврею лучше — речь идет, конечно, не про сегодня — держаться тактики побежденного, если целую голову он предпочитает размозженной.

Но это лишь одна сторона дела, практическая, которая поуждает еврея скрывать свое настоящее лицо и прикидываться чем-то другим, не тем, что он есть на самом деле. А другая сторона, как раз прямо противоположная, касается души еврея и его духа, как он унаследовал их от своих отцов.

Я годы учился недаром,
Недаром свинец рассыпал —

Одним дальнобойным ударом
Я в дальнюю мачту попал.

.....

И все ж я доволен судьбою,
И все ж я не гнусь от обид,
И все же мою рукою
Летучий Голландец убит.

Еврей Миша Светлов, двадцати пяти лет от роду, своею рукою убил свою мечту, убил Летучего Голландца — кто этому поверит! Человек разыграл спектакль, набросил на себя личину бандюги с большой дороги, который похерил даже гуманнейший принцип джентльменов удачи — кошелек или жизнь! — требуя от своих жертв только одного, смерти, на самом деле все свои годы больше всего на свете боялся обидеть ближнего.

И не было для него завета святее того, который заповедали ему отцы: "Не делай другому того, чего ты не желаешь, чтобы другие сделали тебе".

Но, Боже мой, в большевистской России, да в тридцатые годочки, мог ли поэт, тем паче еврей, позволить себе какие-то ламентации, причитания, когда вся страна, по воле партии, по воле Щербатого, Колчерукого, — вот уж шуточки истории: другой был Тимур-Ленг, Тамерлан, Железный Хромец! — обратилась в одну гигантскую домну, в пылающий, на шестую часть земли, мартен, куда сбрасывали все гамузом, от сохи до человеческого ребра, мог ли, повторяем, стихотворец еврей открыть свою истинную душу?

Не мог. А молчать еврей мог? Тоже не мог.

И вот, дудя в свою пролетарскую революционную зурну, "над израненной пехотой, над могилой Дон-Кихота" он бросил испанцам буденновский клич: "Чтоб отряды шли лавиной, чтобы пели на ходу все, что пела Украина в девятнадцатом году". И тут же, отдудевшись, он схватил страннический посох,

котомку, облекся с пят до головы в дерюгу, налепил бельма на глаза и затынул гнусавым голосом:

Ох, поет соловей на кладбище,
Над могилой шумят тополя...
Сосчитай – сколько сирот и нищих
Навсегда схоронила земля.

Я стою перед близкой могилой,
Я давно свое счастье забыл...
Хоть бы где-нибудь, где-нибудь, милый,
Хоть какой-нибудь родственник был!

Ты живого меня пожалей-ка,
Ты слепого обрадуй во мгле.
Далеко покатилась копейка
По кровавой, по круглой земле!

Как давние предки его, пуримшпиллеры, и еще более давние, которые шли в юродивые да скоморохи, он обрягается в чужие одежды побирухи-слепца, чтобы хоть на одно представление, на один сеанс дать своей душе выговориться:

Все богатство – клюка да веревка,
Все богатство – считай, не считай...
Разменяй же, Господь, сторублевку,
По полтинничку нищим подай!

Ты живого меня пожалей-ка,
Ты слепого обрадуй во мгле.
Далеко покатилась копейка
По кровавой, по круглой земле!

А в краснозвездной столице, на всероссийском Лобном месте, шел в том, тридцать шестом году, когда писаны были

эти стихи, первый показательный процесс. А Русь, да Украину, да Беларусь, да Кавказ с Туркестаном сажали миллионами в эшелоны: далеко покати́лась копейка по кровавой, по круглой земле!

Четверть века спустя, когда остались ему считанные годы, он оглянется на дорогу, которую прошел, и скажет, будто бы "сверстнице", а на самом деле самому себе: "Как одиноко, нелюдимо, как годы детства далеки! Воспоминанья мчатся мимо, как пионерские флажки, как мячики, как фейерверк, как реки, в которых не купался я... Прощай, мой свет, прощай навеки, иллюминация моя!"

Что же было иллюминацией: "Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать"? Или: "Ночь звенела стременами, волочились повода, и Меркурий плыл над нами — иностранная звезда"? Или "Каховка", которая так вошла в память поколений, что и цитировать ее — прямое уже неуважение к читателю?

Или были иллюминацией нескончаемые исторические пассажи, где мелькают вперемешку рабфаковка, буденновец, Жанна Д'Арк, Мария-Антуанетта и Робеспьер?

Ну хорошо, оставим иллюминацию: иллюминация для поэта — дело прошлое. Ну а впереди, где горизонт, что там? Для него, человека умудренного, кто более уже полувека меряет версты, уж наверняка никакой иллюминации впереди нет, а все, сладко ли, горько ли, должно бы никаких особых загадок не содержать...

Без труда, как замечено давно, не вытацишь и рыбку из пруда. Но Светлов и не предполагает так, на дурняка, сгонять в будущее: "Я в погоне этой не устану, мне здоровья своего не жаль, будь я проклят, если не достану эту убегающую даль!"

Ну что тут сказать: зря — хотя уже три тысячи лет назад было ему заповедано пращурами: "лучше тебе не обещать,

нежели обещать и не исполнить” (Екклесиаст, 5:4) — поспешил поэт клятву давать. И ничего уже не остается, одно только — кричать: ”Горизонт мой! Ты опять далек? Ну, еще, еще, еще рывок!”

Да напрасно все: ”Как преступник среди бела дня, горизонт уходит от меня!”

Надежды нет уже никакой, но инерция такая — попробуй остановись с ходу: ”Горизонт мой... Я ищу твой след, я ловлю обманчивый изгиб”. И только тут, когда надежда полностью извела себя, впервые приходит поэту в голову: ”Может быть, тебя и вовсе нет? Может быть, ты на войне погиб?”

На войне? На какой войне? Исключая всякие малые войны, были у советской власти две большие войны: гражданская и Великая Отечественная, с Гитлером. В которой же из них, полагает поэт, погиб его горизонт: в последней, где положили свои головы двадцать миллионов человек, или в первой еще, гражданской, когда он и его сверстники были ”мы молодая гвардия рабочих и крестьян”?

В двадцать третьем году, в том году, когда ему исполнилось двадцать лет, раздираемый между Талмудом и Революцией, он, комсомолец, высказал вслух свои далеко не комсомольские мысли: ”Между внуком и между дедом, где-то между, не знаю где, я в разбитой теплушке еду, еду ночь и еду день. Потому я и редок смехом, в том моя неизбежная мука, что от деда далеко отъехал и навряд ли доеду до внука”.

Представляете себе: в двадцать лет, по теперешним меркам, почти еще пацан, он уже думает о внуках! И хотя об этих внуках он не имеет ни малейшего представления, он все-таки очень и очень сомневается, навряд ли он доедет до них.

Так где же он? Как может он ответить на вопрос своего Бога, на вопрос Иеговы: ”Где ты?” Какую часть дороги он прошел? Уверен ли он, что это его дорога? А может быть, не его?

Если это его дорога, то почему "отец усердно молится, замолвив сыновние грехи"? И в чем его грехи?

Послушаем, что говорит на этот счет отец:

Сын не носит моего имени,
И другое у него лицо,
И того, кто бил меня и громил меня,
Он зовет своим близнецом.

Боже мой, сколько раз мы уже слышали это: сын уходит от своего еврейского папы, а папа вместо того, чтобы проклясть отступника сына, замаливает перед Богом его грехи. И папа — многострадальный еврейский папа, такой же многострадальный и любящий, как еврейская мама, — тешит себя последней надеждой: "Но я знаю: старые лица будет помнить он, мой сынок".

А потешив себя, папа больше уже не в силах обманываться, не в силах скрывать от себя правду: "Осень в ставни стучится глухо, горе вместе со мной поет, я к могиле иду со старухой, и никто нас не подвезет".

Сорок лет спустя, в больнице, когда счет жизни шел уже на дни и часы, сбылись папины ожидания: Миша — какой там Миша, Мотька, как было еще в мирное время, в Екатеринославе! — вспомнил "старые лица". И не только лица, но и слова из родного своего идиш, который он узнал еще до того, как русские слова стали главными словами его языка.

"На прощание, — вспоминает Зиновий Паперный, его друг, — он сказал "Зай гезунд" (будь здоров). Я ответил — главное, чтобы он был "гезунд".

В доме у него, кроме людей, жили двое меньших братьев: кот, который не пил молока из блюдца, и кролик. Кролику было имя Финкельштейн. На святой Руси не в каждом доме, даже еврейском, встретишь братца кролика под таким именем.

А было оно по наследству от поэта Александра Ясного, друга юности, когда Днепропетровск был еще Екатеринославом, а Ясный был Финкельштейн.

Что говорить, коли начинает тянуть к своим, так своим должно быть все. Здесь, в Нью-Йорке, у моих друзей пятилетняя девочка, по имени Татьяна, зовет своего бурого медведя Мойшей, а любимую обезьянку — Арончиком. Насчет Арончика ее старшие, ассимилированные евреи из Одессы, объясняли ей, что это не имя для обезьянки. Обезьянка должна быть Мики, Тики, Каки. Или Маша, Алена. Но девочка ходит в еврейский детский сад, а куклы в этом саду имеют еврейские имена: Лия, Мойше, Арончик.

Светлов вспоминал: "У меня в детстве был друг. Его звали Арка. Сокращенное от Арон. Он — умирающий еврейский мальчик — отдавал распоряжения, как американский миллионер. "Голубую папку отдадите Тосе. Ей пишут письма много влюбленных мальчиков. Надо же собрать архив. Газетчику Моте... я задолжал восемьдесят копеек. Сложитесь и отдайте ему. Мое место на фиалковом заводе... перепоручите Косте Петрову. Он прилежный человек". Он долго и мучительно умирал. Я ушел".

В студенческие годы я сделал для себя самое главное свое открытие: живые живут по законам живых. Я понимаю, что это звучит банально, но для меня, повторяю, это было — и остается по сей день — главным открытием моей жизни. Монтень говорит, что "философствовать — это значит учиться умирать". Бесспорно, это так. Но не менее бесспорно и другое: философствовать — это значит учиться жить. Тем, кто боится смерти по той причине, что смерть лишает нас того, чем мы обладали при жизни, Монтень отвечал: верно, действительно лишает, но, с другой стороны, мертвому этого и не нужно. А отсюда вывод: пока жив человек, живи по законам живых. И в этом

смысле нет для человека разницы между первым его днем и последним днем, ибо и тот и другой — дни жизни.

До последней секунды, до последнего вдоха Светлов жил по законам живых, как и его друг Арка, который умирал долго и мучительно. Когда пришло время, Светлов умирал так же: долго и мучительно. Он не отдавал распоряжений насчет "голубых папок", насчет архива: он знал, архив его соберут — найдется кому. Слава Богу, что-то, а архивы в стране Советов не пропадают.

Но разве от еврея, даже если он поэт, остаются одни архивы? От еврея остается его мудрость, а мудрость — в словах.

Когда врач спросил у него, как он себя чувствует, как пищевод, Светлов ответил: "Прекрасно! Как у Стеньки Разина!" И добавил: "До казни".

В феврале, когда по всему телу пошли метастазы, у него удалили опухоль под мышкой: "Хотели посмотреть, что у Христа за пазухой". Он не мог ходить на костылях, друзья пришли навестить его, он встретил их вопросом: "Знаете, какая разница между больницей и тюрьмой?" И сам ответил: "Никакой. Но в тюрьме хоть знаешь свой срок".

Он уже не мог есть, а ему все приносили витамины: абрикосы, яблоки, апельсины. "Очень хорошо, — сказал он, — что вы принесли, а то у меня осталось всего каких-нибудь полцентнера". Его укоряли: "Вот опять не доел". Он слабо улыбался, длинный нос его делался еще длиннее:

— Недоедливый этот Светлов.

Кого бы ни взялся изображать человек, он всегда играет, вместе с тем, и себя самого.

Когда мне пришла в голову эта мысль, я вспомнил, что ее успел уже высказать другой — ровно четыреста лет назад. Этот другой — Мишель Монтень. Кстати, у него есть и специальные мысли насчет евреев, насчет мужества и верности их своей

вере: когда португальский король Мануэль повелел вырвать из рук евреев всех их детей до четырнадцати лет, чтобы отправить их под надзор христиан, которые воспитали бы их в христианской вере, одни родители кончали с собой, а другие хватали своих маленьких детей, бросали в колодцы, а потом уже кончали с собой.

Но не об этом сейчас речь. Точнее, тема та же, о мужестве еврея перед лицом смерти, но не смерти от людей, а смерти от болезни. Конечно, это не то, что бросать своих детей и самому бросаться в колодец, но смотреть прямо в глаза смерти, пусть не от христианского короля, а просто от болезни — тоже не всякий умеет.

В молодые годы комсомольским своим тенорком поэт браво выкрикивал:

Лучше я, ночной порою
Погибая на седле,
Буду счастлив под землю,
Чем несчастен на земле...

Молодое здоровое тело, наполненное до краев соками жизни, даже смерть представляет себе как разновидность жизни. Смерть для него — акт героического деяния, акт воли, а не предустановленная, не зависящая от него метаморфоза, необратимый переход от бытия к небытию. Разыгрывая в своем воображении героическую свою смерть, молодой мозг и молодое тело только утверждают себя в собственном мнении и прибавляют в жизненной силе.

Когда же молодость уходит, когда на смену здоровью приходят болезни, причем такие болезни, которые своими ледяными кулаками поддают человеку под сердце, под легкие, под печень и не позволяют сделать ни шагу, ни полшага в сторону, а только вперед, к последнему дому, точнее, домовине, тогда

действительно надо быть человеком, чтобы держаться до последнего, до самого последнего мгновения по-человечески.

Рак поедал его. Как сказал один близкий друг, его мало осталось, а он, такой не боевой, такой не мужественный на вид, держался с солдатской терпеливостью и говорил себе: "Ну и что? Ну и ничего".

До последнего мига маска хухима, хохмача, которую он надел еще мальчиком в доме у своего папы Арона и мамы Рахили, не оставляла его. Он продолжал играть. Кого? Самого себя.

Взяв в руки бутылку боржома, он сказал другу: "Вот и скоро... Как эта бутылка". Друг не понял. Он сказал: "А прочитайте". И показал на этикетку: "Хранить в холодном, темном месте в лежачем положении".

Балагурил, хохмил, скоморошничал он со всеми. Лучше всего он чувствовал себя в больнице с сестрами, нянечками, уборщицами, вахтерами, лифтершами. С "неначалством". Другу, который отмечал какое-то свое событие с неначалством, он сказал: "С ними хорошо. С извозчиками еще лучше". У себя, в родном Екатеринославе, он называл извозчиков балагулами.

Балагурить и хохмить он продолжал и после смерти. В записной своей книжке он оставил запись: "И вот я умер. Чем бы мне заняться?"

Вопрос был чисто риторический: он знал, маску с него, покойного, не содрать. Мертвый, он продолжал играть себя. Мертвых, как и живых, можно пинать, разоблачать, боготворить: мертвые одинаково безразличны к терниям и к лаврам. Мертвым не больно. Мертвые неуязвимы. Прорабатывая свое будущее, по ту сторону добра и зла, он жил по законам живых — своей посмертной репутацией он дорожил не меньше, чем прижизненной. Больше того, жизнь не удалась — оставалось одно: работать на бессмертие.

Это предчувствие — неудачи — овладело им давно, в юные годы, и не отпускало во всю его жизнь: "Понимаю — в чем дело, узнаю — куда я еду: пролегло мое длинное тело перешейком меж внуком и дедом".

Ясно? История лишила его собственного лица, история вообще лишила его человеческого образа: он был лишь "перешейком меж внуком и дедом".

Не он, Мотыка Светлов, один так воспринимал мир. Многие, а может, большинство, — а может, страшно выговорить, все! — воспринимали так: "От Владивостока и до Польши проведен пунктир кровавый — тел... Да и так ли мало быть пунктиром, или историческим звеном, между старым и грядущим миром?"

Во как колпачился и колпачил других хинганец Уткин! Но не отсебятину же порол человек, не из своей, как говорили его земляки-евреи из-под Иерусалимской горы, выдумал головы, а резал по диамату-истмату, как учила революция, учила партия, учил Щербатый.

Но история есть история. Чтобы увидеть ее правильно — да и то, что значит правильно! — требуется дистанция. А пока она вершится, в самой гуще событий, пойдя разбежись, что к чему. Идя видимой дорогой, история тут же прокладывает другую, невидимую, со множеством потайных ходов, которые сплошь да рядом выводят человека позади того места, с которого он начал движение. Речь идет не о движении в пространстве и времени, то есть материальном мире, — в материальном мире, очень может быть, действительно произошло движение вперед, и никакого обмана зрения здесь нет, — но продвинулась ли при этом и человеческая душа, стала ли она лучше, стало ли ей лучше — вот в чем вопрос.

В такие дни таков закон:
Со мной, товарищ, рядом

Родную мать встречай штыком,
Глуши ее прикладом.

Это писал Мотыка, двадцати трех лет от роду, писал в знаменитом своем стихе "Песня".

Что остается нам, уже имеющим необходимую дистанцию, чтобы, не скажу хорошо, но лучше, видеть историю, думать про еврейского сыночка, который призывает колоть штыком и глушить прикладом собственную мать? Приведем еще пару строчек, чтобы увидеть картину во всей прелести, как видел ее пролетарский псалмопевец, редактор первого на Украине комсомольского журнала "Юный пролетарий": "Нам баловаться сотни лет любовью надоело. Пусть штык проложит новый след сквозь маленькое тело..."

Что "маленькое тело", сквозь которое штыку надлежит проложить новый след, это тело матери, объяснять не приходится.

Ну так я вас спрашиваю, какие слова остается нам сказать здесь? Сказать, что этот комсомольский зурнач разбойник, отцеубийца, бандит с большой дороги, это ничего не сказать. А к тому же не забудьте еще, что этот зурнач родом из иудеев.

Как же, вместо того чтобы искать свои слова, не ответить этому зурначу словами из его кумира Гейне, вложенными в уста гоа, патера Хозе, францисканца:

Вы, как волки, как шакалы,
Кровожадны и свирепы,
Вы – гиены, на кладбищах
Расхищающие склепы!

Иудеи! Вы – вампиры,
Носороги, крокодилы,
Кабаны, гиппопотамы,
Павианы и гориллы!

Совы, филины, вороны,
Пугачи, сычи, удоды,
Нечисть ночи, василиски,
Богомерзкие уроды!

Гады, ящеры, ехидны,
Черви, пакостные жабы!
Искупителю вас всех
Раздавить давно пора бы.

Ну насчет Искупителя, который тоже, как известно, был из того же богомерзкого племени, разговор отложим до другого раза: об отношениях, какие сложились у него, плотничьего сына, еврея Иешу, со своими, такими же, как и он, обрезанными, двумя-тремя словами не обойдешься.

Но насчет проклятий, хотя и переведенных с чужого наречия, кстати, небезызвестным евреем, по имени Осип Мандельштам, который-таки знал толк в родовых проклятиях, как не многие другие знают, остается только цикать языком: а, цимес!

Но в том-то и штука, что, когда имеешь дело с евреем, этим ратоборцем кошера, никогда не знаешь, какую свинью он тебе подложит. А что подложит, это — как пить дать. И сколько ни будете смотреть ему в руки, столько ни будете ловить на фармазоне, все равно не поймаете: пока вы набиваете себе мозоли на глаза, норовя схватить его с поличным, он делает свое дело чужими руками, такого же, кстати, жида, как и он сам:

Ты лежи в своей кровати
И не слушай вздор мой разный,
Я ведь, в сущности, писатель
Очень мелкобуржуазный.

Думаете, это говорит он, комсомолец Мотыка Светлов? Ни Боже мой! Это говорит в знаменитых его "Ночных встречах"

совсем другой стихотворец, тоже, правда, еврей, но абсолютно чужой человек и вообще не из Екатеринослава, и вообще не из России, а откуда-то из далеких краев, которые еще тысячу лет назад евреи называли землей Ашкеназ, и с тех пор все они, на восток от реки Рейн и аж до Днепра и Волги, стали называться ашкеназим. Этот еврей, как вы уже сами догадались, тот самый Генрих Гейне, у которого мы позаимствовали — а, щимес! — такие проклятия в наш адрес, до каких не могла додуматься даже моя соседка Ривка Зазовская. А между тем, это была женщина с такой выдумкой, что люди, как она, один на миллион. Когда я подал на визу, она собирала на лестнице соседей, гоим, и, хватая себя обеими руками за титьки, кричала: "Ицики, ув Израиль едете! Ицики!" Оказалось, в это же самое время она тоже подала на визу,

Так вот, когда Мотька, которому пошел тогда двадцать второй год, уверяет, будто Гейне сказал ему: "Ты лежи в своей кровати и не слушай вздор мой разный, я ведь, в сущности, писатель очень мелкобуржуазный", — не верьте ему. Это обычные еврейские штучки — приписать кому-то свои самые сокровенные мысли, самые честные слова. Это он, чьи грехи замазывал его папа, типичный шолом-алейхемовский "человек воздуха", сам себе сказал: "Я ведь, в сущности, писатель очень мелкобуржуазный".

А вы представляете себе, что значило в те годы, когда пролетарская роба и буденновка были единственно надежным удостоверением личности, самому сказать про себя такое! Да это же было почти то же, что пойти и стукнуть на себя в ГПУ! В лучшем случае могли взять на карандаш, но ведь, случалось, брали и на мушку.

И вот теперь, чуть-чуть расчистив место от хлама, которым спокон веку окружают себя поэты, приведем еще несколько строчек из того же стиха о матери, "Песня":

Бегут в раскрытое окно
Слова веселой песни,
И мать моя давным-давно
Уснула в старом кресле.

.....
И ты не бойся страшных слов:
Сквозь дым и пламя песни
Я пронести тебя готов
На пальцах в этом кресле.

Ну, как говорят евреи в Одессе, так спрашивается вопрос:
для чего же были все эти бандитские кличи протыкать свою
маму штыком и глушить ее прикладом?

А вот для чего:

И то, что в час вечеровой
В кошмаре мне явилось,
Я написал лишь для того,
Чтоб песня получилась.

Как вам нравится этот хохмач, этот комсомольский бохер:
чтоб получилась песня, он готов — пусть на словах, а слова
это мало, что ли! — сделать со своей мамой то, что сделал
злодей из злодеев, император Нерон. Но у того хоть было из-
винение, у того мать, звали ее Агриппиной, была такая, что
муж ее, тоже бандит из бандитов, сам говорил, "что от него и
Агриппины ничто не может родиться, кроме ужаса и горя
для человечества". А у него, кого дома называли не иначе,
как Мотя, Мотэле, была такая нежная, такая заботливая, та-
кая самоотверженная мама, как же у него повернулся язык
вслух выговорить слова, от которых леденеет кровь в жилах!

Факт остается фактом: повернулся. Больше того, и не один
раз повернулся, и не только по отношению к матери.

Вот, слушайте:

Думаете, случайность? Думаете, рифма просто взяла поэта за ручку и повела за собой, а он, изнеженное дитя музыки, мягкотелый, как говорила моя покойная мама, идишер ингл, обрадовался случаю, что можно ничего не делать, а другие сделают за него, взял да и пошел?

Ничего подобного. Еврейский мальчик Мотл, хотя сородичи его и он вместе с ними горланили на всю Расею свои интернационалы, прекрасно отдавал себе отчет, что песни песнями, а жизнь жизнью. Еще там, в России, а здесь, в эмиграции, так три раза на дню мне доказывали, в том числе сами евреи, что наши жидаы заимели такую власть на Руси, так распоясались, что можно только удивляться, как православные люди не перерезали нас.

Но давайте, хотя бы на примере Мотьки Светлова, обратимся к фактам. Точнее, не Мотьки, а тогда уже известного на весь Союз и даже за границей, хотя ему было только двадцать с гаком, Михаила Светлова, автора "Гренады".

"Киев... По городу расклеены афиши. Вечер поэтов. Вера Инбер, Михаил Светлов, Иосиф Уткин... Концертный зал переполнен. На стенах плакаты и лозунги на украинском языке... — "Гренада". Читает автор.

Бурные аплодисменты. Во время шума Светлов растерянно наклоняется:

— У меня там "мечтатель-хохол"... Скандал. Могут обидеться. Как думаешь, чем заменить?

Пожимаю плечами. Нашему поколению первых комсомольцев чужды чувства узкого национализма. Тем более Светлову, выросшему на Украине. Однако ему видней...

По напряженному выражению лица можно без труда определить, как он мучительно думает о злополучном слове. Вот он подходит к строфе, где "медлит с ответом, мечтатель-хохол"... С тревогой наблюдаю за ним...

Не моргнув глазом, Светлов читает:

Он медлит с ответом,
Мечтатель Вукол:
— Братишка, Гренаду
Я в книге нашел...

Уткин чуть не падает со стула”.

Ну так как вам нравится этот интернационал! Багрицкому, когда он сам читал свою поэму про Когана-жида, и другим, которые несли ее в рабочие клубы и хаты-читальни, не приходило в голову заменить жида на что-нибудь другое, чтобы жида, пардон, евреи, не дай Бог не обиделись. Да зачем Багрицкий — возьмите самого Светлова:

Или будет нам обоим крышка,
Иль до гроба будем вместе жить...
Никогда не думал я, братишка,
Что могу я
Жида полюбить.

Ведь здесь обойтись без жида было раз плюнуть. Не нужно было вводить никакого дурацкого Вукола, а просто сказать: ”Никогда не думал я, братишка, что смогу еврея полюбить”, и дело с концом.

Но, Боже мой, надо же быть последним ублюдком, чтобы портить стих только по той причине, что евреи могут обидеться. Это во-первых. А во-вторых, еврей, да и то еще смотря какой, огрызнется на ”жида” — ”Черный пес впереди бежит, поднял голову, смотрит гордо, назови его только ”жид” — он тебе перекусит горло”, — если сказано злобно, с явной целью уесть человека, плюнуть ему в душу, а ежели сказано ласково, мол, жидок мой, браток мой, так еврей еще умиляться зачнет: во парень, свой в доску — до нас, еврейчиков, как равный до равных.

Что евреи народ жестоковыйный, с гордыней до самой печенки, спору нет. Но, с другой стороны, крути не крути, а те же евреи — не все, конечно, но столько, что, как говорится, мне бы столько копеек — рады подставить спину всякому, кто готов погладить, готов сказать ласковое слово.

Более того, когда еврею говорят даже не очень ласковые слова, он утешает себя тем, что ведь могло быть и хуже.

В 1900-м году виленский мещанин Давид Блондес был обвинен в том, что ранил свою служанку, христианку, — в черте оседлости евреям разрешалось держать христианскую прислугу — с тем, чтобы взять от нее кровь для мацы. Виленские присяжные, из числа доброхотов, вынесли Блондесу приговор, как будто больше всего заботились, как бы не обидеть кровопивца-еврея: один год и четыре месяца — не тюрьмы, нет, — арестантских рот. Виленские евреи были на седьмом небе от счастья: представляете, гоим обвиняют жида в ритуальном пролитии христианской крови — и на тебе, дают за это жиду чуть не санаторий!

Нашлись, конечно, в общине и смутьяны — кто не знает этой породы евреев, которым всегда все не так! — потребовавшие, чтобы община подала на кассацию. Но люди, у которых в пятке было больше ума, чем у этих смутьянов в голове, ссылаясь на историю, доказали, что год и четыре месяца арестантских рот не наказание и, вообще, это особое счастье привалило евреям — такой состав присяжных. И, конечно, благоразумие взяло верх: ибо, когда хорошо, так хорошо, и не надо требовать, чтобы было еще лучше.

И все же нашелся еще один еврей, правда, уже не в самом Вильно, а в Петербурге, которому тоже не понравился приговор. Этот еврей не любил, чтобы гоим ласково гладили его ни по спине, ни по другому месту. Имя этому гордецу было Грузенберг, Оскар Осипович, между прочим, земляк нашего

поэта, тоже родом из Екатеринослава. И как вы думаете, чем закончилось? Он-таки подал на кассацию — и выиграл.

А в 1911-13 годах ему пришлось опять вести аналогичное дело в Киеве — знаменитое дело Менделя Бейлиса. На этом процессе он произнес пламенную шестичасовую речь, которую закончил такими словами: "Едва минуло двести лет, как наши предки по таким же обвинениям гибли на кострах. Безропотно, с молитвой на устах, шли они на неправую казнь. Чем вы, Бейлис, лучше их? Так же должны пойти и вы. И в дни каторжных страданий, когда вас охватывает отчаяние и горе, — крепитесь, Бейлис. Чаше повторяйте слова отходной молитвы: "Слушай, Израиль! — Я — Господь Бог твой — единый для всех Бог!"

И опять он, этот строптивый еврей, выиграл дело. Кстати, в свое время он защищал Милюкова, Набокова (отца писателя), Короленко и Лейбу Троцкого, Троцкого по делу Санкт-Петербургского Совета рабочих депутатов в 1906 году. После февральской революции, когда евреи стали полноправными гражданами России, адвокат Грузенберг был назначен сенатором. На всю жизнь за ним закрепилась кличка: "Драчун милостью Божьей". Эту кличку дали ему не евреи, эту кличку дали ему русские.

Как видим, еврей еврею рознь. И когда речь идет о еврейской ментальности, не нужно думать, что это, как аршин: приложил к штучке сукна, оттяпал ножницами кусок — и бац, готова еврейская ментальность. Один мой приятель, математик, доктора он получил еще там, в России, говорит: прямая — это след точки в пространстве, но что такое точка, никто сказать не может. Так вот, еврейская ментальность — это точка, а еврей — след этой точки в пространстве. Добавим: и во времени.

Что говорить, человек, который умеет делать такие параллели, недаром получил доктора. Но, с другой стороны, где вы

видели еврея, которого можно уподобить прямой! Еврей, даже самый последний шмок, — это ломаная, это кривая, спираль, это пружина. За четыре тысячи лет его так отколошматили, так набили бока, так кроили и перекраивали, что на нем живого места не осталось. Я вас спрашиваю: кто бы еще мог такое выдержать! Воистину, надо быть евреем, чтобы все это выдержать и при этом еще иметь желание оставаться самим собою.

Существует мнение, что рассеяние евреев — это Божья кара. Нет, смею уверить вас, рассеяние евреев — это Божья милость, Божья благодать. Тору свою евреи получили в изгнании, и величайший комментарий к Торе, Вавилонский Талмуд, создали тоже в изгнании. Я вполне отдаю себе отчет, что желающие найдут в моих словах чудовищную ересь, за которую человеку может быть только одно наказание — побитие камнями, смерть. Но кто докажет мне, что мечта о возлюбленной не возвышает человеческую душу более, нежели прямое обладание ею! Кто усомнится, что лира величайшего еврейского поэта Иегуды Галеви трепетала под перстами недостижимой его мечты, его единственной, от первого до последнего вздоха возлюбленной — его Иерушалаима!

”Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих” (Псалмы, 118:54).

Один мудрый еврей сказал: пророки убили в еврейском народе любовь к земному и вместе с ней к государственности. Они сделали его народом без родины: Бог стал его родиной, Тора стала его государством. Где у еврея Тора, там у еврея — дом. Еврей становится бездомным только тогда, когда у него забирают Тору.

Да, но позвольте спросить: можно ли забрать у еврея Тору, если он сам не хочет отдать ее?

Вернемся опять к нашему Мотлу. Что субординацию он, екатеринославский бохер, хорошо понимал, в этом мы уже

имели случай убедиться: как сложилось еще за тысячу лет до большевиков, так оставалось и при большевиках — церковь больше, выше, а синагога меньше, ниже. Тот факт, что церковь, можно сказать, дочь синагоги, а не наоборот, в данном случае значения не имеет: геральдика геральдикой, а реальность реальностью.

Ну а главное — готов он был отдать свою Тору или нет? — на это мы ждем ответа.

Перед тем как ответить, позвольте один маленький вопрос: а что такое Тора? Скрижали, на которых Моисей записал десять заповедей Единого? Свитки, на которых начертаны священные письма? Или Тора прежде всего в наших поступках, в наших делах?

Реб Израиль Салантер, основатель движения мусар, мудрец, каких даже в девятнадцатом веке было немного, говорил, что "расстояние между знанием и невежеством — меньше, чем между знанием и делами". Это был его ответ тем из Гаскалы, еврейского Просвещения, кто полагал, что все дело в знаниях: дайте человеку знания — и он само собою делается хорошим. И еще реб Салантер говорил, в том числе тем, кто видел свой высший долг в изучении Торы, но меньше заботился о том, чтобы следовать ей в своих делах: "Хорошо бы, если бы самый крупный человек поступал в соответствии с тем, что знает самый маленький человек".

Если добавить к этому еще замечание Рамбана из его "Кедашим", что "человек может быть отвратительным в строгих рамках Торы", то, пожалуй, станет ясно: Тора — это не просто текст, который каждый может прочитать в свитках или книге и слово в слово держать в своей памяти, Тора — это душа еврея, это поведение его во всей полноте, которая имеет свое название: жизнь.

Как же вел себя в те заревые годы советской власти, ког-

да иным евреям казалось, что они схватили бога за бороду, поэт Светлов? Действительно ли, горланя со всеми в едином строю интернационалы, он целиком, с потрохами своими, предался новому, большевистскому режиму? Действительно ли он слился с пролетариями и крестьянами до такой степени, что позабыл тысячелетний факт: есть между ними обрезанные и необрезанные, а сам он из обрезанных?

Вот вам стих, один из девяти его тогдашних стихов о ребе, и судите сами:

Тихо.
Темно.
Ребе ходит чуть слышно, как вздох,
Как живая боль синагоги.
Темен порог.
Тишина сторожит на пороге.

Хочется ребе давно
Спрятать тоску в молитве.
Старое сердце еврейской тоскою больно,
Старое сердце еврейскою болью болит ведь.

Смолкла свеча в позолоченной люстре,
И теперь ни одна не заглянет душа,
Тихо в большой синагоге
И пусто...
Ша!

Я не знаю в русской советской поэзии другого стихотворения про ребе, в котором бы ученик его — ”Помнится: мальчиком я Тору разворачивал. Ребе все твердил про народ свой — под Стеною плача, у разрушенных израильских твердынь”, — обретаясь уже в первых рядах Комсомолии, позволил себе так, на виду у всех, открыть свою душу. Еврейскую душу. И обра-

тите внимание, открыв, он уже не может удержаться, и, одетый в комиссарскую робу – ”А теперь я, в кожаной тужурке, вижу маленького ребе (сам большой)”, – он чуть не берет на руки тщедушное, сморщенное тельце и нежно шепчет: ”Ты уж усни, мой старый ребе, баюшки-баю!”

Так может разговаривать только любящий сын с отцом, только любящий отец – с сыном. И кто не знает этих – волею Вседержителя – парадоксов нашей души: то мы чувствуем себя отцами своих отцов, то чувствуем себя сыновьями своих сынов. Душа ведет свой счет времени, и этот счет не всегда совпадает с нашим.

Двойкий счет времени, свойственный всякому поэту, не исключая даже самых рьяных трубадуров режима – возьмите хоть Маяковского, – у еврея Мотьки Светлова, особенно в двадцатые годы, выражен был с предельной отчетливостью. С одной стороны, вселенский интернационал, всеобщее братание и братство: ”Мы ушли и долгий отдых провожали налегке возле Брянского завода в незнакомом кабаке, и друг друга с дружбой новой поздравляли на заре, он забыл, что он – махновец, я забыл, что я – еврей”. Счет времени ведет здесь история, и мы с ней. С другой стороны – ”Через тучи песков, через версты пустынь, через черную зелень еврейской весны, неумыт и обшарпан, я пришел на Волынь – кочевой гражданин неизвестной страны” – счет времени ведет душа, у которой нынче, когда пишутся эти строки, на еврейском ее календаре 5742-ой год от сотворения мира.

Снова бродит луна
По полям бесконечных скитаний.
Словно в очередь к Богу,
Вразвалку лежат мертвецы...
Засыхает слюна
Над застрявшей в гортани
Отсыревшей полоской мацы...



Так начинается свой сказ "Хлеб" поэт Светлов, из известного города Екатеринослава, где все жители, через одного, были евреи. Можно ли представить себе, чтобы о хлебе, о схватке со знаменитым атаманом Тютюником, в таком ключе повел рассказ нееврей! Какую власть забрал над поэтом этот ключ, можете судить по "Песне Моисея", писаной одиннадцатью годами позднее, в тридцать восьмом:

Летит атаман за военной добычей,
Земля полыхает кругом,
Но спит Житомир, и спит Бердичев,
И спят местечки кругом.

Стоит синагога, сквозь сумрак темнея,
Стоит, как Ноев ковчег.
На белые бороды старых евреев
Падает белый снег.

Однако вернемся к поэме "Хлеб", в которой был свой Моисей, по фамилии Либерзон. Происходил этот Моисей из приличной еврейской семьи, "Бакалейный торговый дом — Самуил Либерзон и Сын". Отец его Самуил Израилевич, любитель пофилософствовать, как все старые евреи, задает вопрос, на который сам же отвечает: "Что ты видел, цыпленок куцый, у окошка родного дома? Отблеск маленькой революции и пожар большого погрома..." Чем закончился погром, можно не рассказывать: убили маму, прирезали сестер, еще там несколько евреев... словом, обыкновенная история.

Самуил Либерзон, однако, как в свое время Иов, не жалуется, а только смиренно просит Бога:

И если, о Господи,
На одном из небес
Ты найдешь мое счастье, —

То сжался над ним,
Вынь все лучшие звезды свои
и повесь
Над заплаканным счастьем моим!..

Ах какие слова — заплаканное счастье мое! — нашел поэт для своего героя, старого еврея. Произнеся эти слова, несчастный старик и вовсе потерял покой: "Что-то дует сильно, что-то спится слабо... Разреши, Всесильный, повернуться на бок..."

Не Бог знает, какая просьба: можно и разрешить. Но разве дело в том, какую позу принять — на боку, на спине или, простите, кверху одним местом? Еврей хочет покоя, хочет немножечко нахес — вот, чего хочет еврей.

Но только ин хулим, во сне, дано ему отведать счастья:

Приближаются с двух сторон
Царь Давид
И царь Соломон.

'Рад вас видеть, друзья, всегда
Я в Житомир
А вы куда?"

.....
Говорят о делах
И о родине
Два царя
И один верноподданный.

Как вам это нравится: где-то между Житомиром и Бердичевом, на родной земле, еврей говорит с Давидом и Соломоном о каких-то делах и о какой-то родине. Значит, ни Житомир, ни Бердичев, ни местечки, которых вокруг, как звезд в небе, не родная земля, не родина!

Но как же так, если сыны и дочери Израилевы пришли в

эти края еще тогда, когда не только Киева, Одессы, Житомира не было, но не было еще самой Руси, а жили здесь скифы да киммерийцы! Как это может быть, если еще за полтысячелетия до Рождества Христова, когда Афины только становились на ноги, а Рим еще ворочался в своей колыбельке, еврейские солдаты и офицеры под началом великого Дария, сына Гистаспова, — благословенно имя его, повелевшего восстановить в Иерусалиме Бет-Амигдаш: ”Мною же дается повеление, что е с л и какой человек изменит это определение, то будет вынута бревно из дому его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его за то будет обращен в развалины” (Ездра, 6:11) — и в пешем, и в конном строю, и на плотях, и на судах исхаживали здешнюю землю и бороздили здешние воды! И были из их числа такие, что осели здесь, пустили свои корни, и корни эти были так глубоки, так крепки, что и по сей день, две с половиной тысячи лет спустя, хотя были века, казалось, иссохли эти корни, обратились в пыль, идут по ним живительные соки из здешней земли, где захоронены сыны и дочери Израилевы миллионами.

И чувство корня, юридически подкрепленное жесткими законами наследования, передалось далекому их потомку, рожденному в черте оседлости, Мотьке Светлову: ”Отдавая молодые силы городам, дорогам и полям, я узнал, что старая могила для постройки лучшая земля”. Заметьте, не вообще могила, как мог бы сказать другой, не из его племени, а именно ”старая могила”, старая той старостью, которая дается не просто годами, а дается историей:

Посреди болотных пустырей
Он стоит, мечтательность развеяв, —
Гордость нации,
Застенчивый еврей,
Боевой потомок Маккавеев.

Видите, куда — во второй век до Рождества Христова! — делает свой экскурс поэт, чтобы дать представление о своем возрасте и о возрасте своей боевой славы! Конечно, знай историю обстоятельнее, он мог бы передвинуться еще на несколько сот лет в глубь веков, но, с другой стороны, зачем: родословная евреев записана в самой высокой книге, какую создало человечество за всю свою историю — в Книге Книг. И нет на земле народа, который отважился бы сказать: "Нет ни моего, ни моих пращуров имени в Книге евреев — и в этом мое величие".

И не страшен разбег дорог
Перешедшему вброд реку,
И стоит над Синаем Бог,
Приготовившийся к прыжку.

Хотя писано черным по белому, но как поверить, что в двадцать седьмом году, в десятую годовщину пролетарского Октября, нашелся в России поэт, позволивший себе искать источник силы своего героя в синайской истории Мойше-рабену! И хотя тут же, в поэме про Моисея Либерзона, можете найти сколько угодно экивоков касательно революции и советской власти, однако древность героя, уже безо всяких экивоков, дана в одной-единственной перспективе — древности Израилева рода, с тех еще незапамятных времен, когда стоял "над Синаем Бог, подготовившийся к прыжку".

И вот спрашиваем: где же был дом человека, праотцы которого имели две главные встречи с Богом — одну в Харране, в Месопотамии, на восток от Евфрата, а другую в Синае? Может ли быть случайностью, что для двух своих основополагающих встреч Всемогущий избрал места, лежащие в стороне от Земли Обетованной, которую сам же, своей властью, определил сынам Еверовым? Да и вообще, может ли быть нечто в делах Его, что мы, люди, именуем случайностью?

Или это была случайность не от Него, а от нас от самих, ибо Он наделил нас свободной волей? Он же и сказал нам: вот древо познания, не вкушайте от него, — но это был не приказ, это был лишь совет, а уже от нас самих зависело, воспользоваться этим советом или пренебречь.

Мы пренебрегли, и с тех пор стали как одни из Них, то есть Господь и его ангелы, — ведающие добро и зло. И в первую очередь пала за это ответственность на наши головы, сынов Израилевых, ибо мы сподобились наибольшего доверия Всеблагого, ибо нам доверил он нести слово Его людям.

И рассеял Он нас, и стали мы пришельцами между народами. И в земле, которую Он определил нам, жили мы не дольше, нежели сыны живут в доме отца, а потом разбредаются по миру. И как они поступали со своими отцами, так их сыны поступали с ними.

И так — для тех, кто интересуется подробностями, я пишу "Эхад, Еврейство и Русь" — сыны Израилевы попали на берега моря Аскеназ, теперь Черное, на земли, нареченные, примерно, через полторы тысячи лет Русью.

И была для нас Русь домом, потому что жили мы там спокон веку и нет среди ее обитателей никого древнее нас. И не была для нас домом, потому что сами себе тысячелетия напролет твердили мы, что есть у нас другой дом, настоящий.

Трижды на дню творя молитву, утреннюю, полуденную, вечернюю — шахарит, минха, маарив — воспаленными глазами своих прадедов всматривались мы в настоящий, родимый, дом. И неся в себе этот дом, настоящий, жили веками в ненастоящем, хотя и построенном нашими руками, на фундаменте, заложенном нашими отцами, на земле, взлелеянной нашими дедами, у дорог, проложенных нашими прадедами от Средиземного до Черного, от Черного до Балтийского, по Дунаю, по Днепру, по Дону, по Волге и Каспию. И народ древней Руси, не ведавший хитростей да уверток державных и партийных исто-

рий, создал былины о могучем Козарине-Жидовине, о богатом заморском госте Садко, коего первоуродное имя было древне-еврейское Садок, или Цадок.

Вот так и жили мы, дом в дому, и по нашим сосудам перекачивалась кровь из одного в другой, и по нашим нервам шли токи от одного к другому, и стали эти два дома, как сиамские близнецы, — не отодрать, не отрезать, не отрубить: и свое — да чужое, и чужое — да свое.

И закручинился над Русью Мотыка Светлов: "Во саду ль твоём большевики поломали звончатые гусли?" И хоть кручина не оставляла его, однако время требовало не болезненного перебора струн, а "звончатого напева":

Помню паленой соломы хруст,
Помню: красный по деревне бегал,
Разбудив дремавшую под снегом,
Засидевшуюся в девках Русь.
.....
Выезжает рысью на поля
Новый, светлый Муромец Илья,
Звонко цокают железные подковы...
К серым хатам держит светлый слово.

Ну и что же, как отнеслась засидевшаяся в девках Русь к слову новоявленного, большевицкого, Ильи Муромца?

Звезды тихо сумерками льют
И молчат, заслушавшись Илью.
Новых дней кровавые поверья
Слышат хаты... Верят и не верят...

Не будем говорить обо всех тех днях кровавых поверьях, ибо несть им числа. Об одном только, о мессианстве Руси, поговорим, как виделось оно в те годы, когда на каждом

собрании, на каждом митинге рядили-гадали: "Долго ли осталось нам томиться, скоро ли окончится поход? Говорят, что скоро заграница тоже по-советски заживет".

И опять-таки, не вся Русь интересна нам в данном случае, не все сто сорок ее народов да народцев, а один лишь народец-инородец, пожалуй, более всех других хлопотавший о всемирной республике труда и, соответственно, устами своих рифмачей певший ей самую громкую хвалу:

Шумит над Парижем
Потоком камней
Последняя паперть
Взметенных церквей.

Земля не устанет
Знамена носить...
Веселая песня,
Военная прыть!

"После многих лет, исследуя свое тогдашнее состояние, я понимаю, что во мне накопилось к тому времени большое чувство интернационализма. Я по-боевому общался и с русскими, и с китайцами, и с латышами, и с людьми других национальностей. Нас объединило участие в гражданской войне. Надо было только включить первую скорость, и мой интернационализм пришел в движение".

Так, незадолго уже до смерти, определял свое главное чувство революционных лет еврей Светлов. Чувство это, как видим, он поименовал интернационализмом.

Но давайте, однако, поглядим, что же это был за интернационализм. Уважение ко всем другим людям? Уважение ко всем другим народам? Уважение ко всем царствам-государствам на земле, как устроили их на свой вкус да лад аборигены?

А накость выкуси! ”Мы, — говорил Владимир Ильич, — противники... национальной обособленности... Мы — международники, интернационалисты”. Ясно? А что такое, в глазах расейского большевика-коммуниста, быть международником, противником национальной обособленности, этого не объяснить нам.

Стало быть, интернационализм тех лет, полное имя коему было ”пролетарский интернационализм”, понимался как безусловное право, более того, как долг России с ее диктатурой пролетариата возжечь один гигантский, на всю Землю, революционный костер, на ролях — это уже само собою разумелось — и главного поддувала, и главного пожарника. Это мы, Божьей (хотя никакого Бога нет!) милостью Рабоче-Крестьянская Большевицкая Власть Великая, и Малая, и Белая Руси будем определять, кому, где, когда и сколько гореть!

Вышла, однако, как известно, небольшая осечка: не получился костер сразу на всю Землю. Более того, даже в самой Республике Советов чего-то заело, заскрипело и вообще повалило не в ту степь:

Мы десять лет
Надеемся и терпим,
Пока под взрывы
Пушечных зарниц
Проскачет эскадрон
Нетерпеливым темпом
Через барьер
Разрушенных границ...

А пока? А пока:

Вдоль старых стен
По кладбищам печальным,
Над мертвым
успокоенным полком,

Я прохожу
Чуть-чуть сентиментальный,
Задумчивым
иду
большевиком.

И вот тут-то впору схватить еврея за руку: а позвольте, гражданин еврей, узнать, по какому праву, представляя себя сентиментальным и задумчивым, вы рекомендуетесь большевиком! Разве не ваш собрат — не по крови, жидюга, а по ремеслу! — сказал ясно и четко: "Если бы выставить в музее плачущего большевика, весь день бы в музее торчали ротозеи. Еще бы — такое не увидишь и в века!"

Тут так: ежели он — "Ты смотри, жидюга, молчи!.." — говорит правду, а он говорит правду, потому что сам товарищ Сталин сказал, что он говорит правду, значит, ты врешь. И твой интернационализм жидовский никакого отношения до нашего пролетарского не имеет. А весь он, аж трупом смердит, от пророков ваших, от Иешаягу-Исаий: "Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть солому" (Исаия, 11:6, 7). Вот ты, еврей, и жри свою солому, свою полову, а наших с толку не сбивай, а то такую лечебницу устроим тебе, что родная мать не узнает.

Лечебницу, как известно, евреям устроили, и не одну. Вместе с ихними Михозлсами, Вовсями, Коганами — шпионами, убийцами, космополитами. И чего стоил ихний интернационализм, теперь на Руси уже никого не обманешь. Бродяга и есть бродяга, и сами же они, устами своего Светлова, сказали про себя: "кочевой гражданин неизвестной страны".

Но, ладно бы, говорили про себя, а то ведь и других тянут

за собою. Мало того, что тянут, так еще и поперед себя толкают:

Красивое имя,
Высокая честь —
Гренадская волость
В Испании есть!

Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
"Гренада, Гренада,
Гренада моя!"

Ну мыслимо ли, чтобы украинский хлопец, хоть и мечтатель-хохол, нашел в книжке какую-то Гренаду — и забыл свои рушники, свои глечики, свою хату та мамусю з татусею! Сколько было у партии и ЧК возни с казаками, чтоб вытянуть их не то что с Украины, а хоть из волости своей, из уезда! И сколько постреляли их, чубатых, упрямых, бежавших до своей хаты.

Другое дело еврей. Еврея хлебом не корми, дай ему только мечту поярче, поцветистее, — и он на край света поперет. В романе "Разгром", советской классике про гражданскую войну на Дальнем Востоке, кто главный герой? Главный герой — человек "с нездешними зелеными глазами", по фамилии Левинсон. А казалось бы, чего делать левинсонам в Уссурийских лесах!

Но ведь Гренада — не амурские волны да маньчжурские сопки. Гренада — Испания, а много ли на земле мест, которые столько бы говорили сердцу еврея, сколько Испания. Это теперь, когда я справлялся на улицах Мадрида, как пройти в

синагогу, испанцы спрашивали: "А что такое синагога?" А были времена, до того как, осеняя себя крестом, кастильцы и арагонцы ринулись на них с огнем и мечом, евреи чувствовали себя в Испании так, как дай Бог им чувствовать себя, сколько им осталось.

А к этому еще прибавьте, что любимый ваш поэт, который для вас почти бог, Генрих Гейне, писал о евреях в Испании больше даже, чем о евреях в собственной его Германии, и все станет на свое место.

Еврей Светлов, который был такой же хитроумный еврей, как все его соплеменники, не оставил пространного объяснения, как пришла ему в голову "Гренада". Однако кое-что он все-таки сказал.

Дело было в двадцать шестом году, "молодежь всячески протестовала против так называемой "казенной" поэзии. Однажды днем я проходил мимо кино "Арс" (там теперь помещается театр имени Станиславского). В глубине двора я увидел вывеску: "Гостиница "Гренада". И у меня появилась шальная мысль: дай-ка я... напишу какую-нибудь серенаду из жизни испанских грандов. Я уже мысленно читал абзацы журнальных и газетных столбцов: "Светлову, как видно, надоела наша советская действительность, и он обращает свои взоры в сторону испанской буржуазии. Тов.Светлова нам, конечно, терять не хочется, но если испанский империализм так уж вам по душе, то — скатертью дорожка, гражданин Светлов!"

В тридцатые годы человек от одних этих мыслей спрятался бы сам от себя в первой же подворотне, но в двадцатые можно было еще поерепениться, покуражиться, и Мотька, теперь уже не местечковый бохер из Екатеринослава, а столичный поэт, подходя к дому, стал напевать: "Гренада, Гренада..." И тут ему пришел в голову вопрос: "Кто может так напевать? Не испанец же? Это было бы слишком примитивно.

Тогда кто же? Когда я открыл дверь, я уже знал, кто так будет петь”.

Вы думаете: еврей, конечно. А этого не хотите: еврей было бы еще примитивнее, чем испанец! Евреем, который отправился за море устраивать свою, — а заодно и чужую — жизнь, никого не удивишь. Это, во-первых. А во-вторых, как ни равняли-уравнивали евреев в правах, юрисдикция — юрисдикцией, а нравы — нравами. Нравы же, что бы там ни твердили люди с раннего времени, которые хорошо еще помнят первые годы советской власти, были таковы, что еврей-таки не мог быть символом пролетарского интернационализма. А любой другой — русский, украинец, грузин, узбек — мог. И еврею, если он хотел сочинять песни не для себя одного, а так, чтобы и другие услышали, надо было напяливать на себя не лапсердак да ермолку, а какой-нибудь зипун с папашой.

”Когда я открыл дверь, я уже знал, кто так будет петь. Да конечно же мой родной украинский хлопец”. Уточним, настолько родной, что когда пришло, как помним, время читать этому родичу песню про него самого, про его любовь до какой-то вычитанной из книжки Гренады, поэт, чтобы родич ненароком не побил морду брату жиду, решил перекрестить его из хохлов в Вуколы. Лира, конечно, не продается, но морда, простите, своя тоже не на базаре куплена.

Так в первом пролетарском государстве на Земле, в первой стране, где рабочие и крестьяне взяли власть в свои руки, приходилось юлить, вертеть, крутить, изворачиваться еврею, чтобы дошли до людей его песни. Пусть в чужих одеждах, пусть в зипуне и папаше, каких ни он, ни его предки с роду не носили, но главное, — чтобы дошли до людей.

Еврей, тем более еврей, у которого душа бурлит, как будто в известь бухнули цистерну воды, не может молчать. Еврей должен говорить, причем говорить так, чтобы все, у кого есть уши, услышали, а кто глухой, пусть обернется и увидит.

Представляете себе, тысячу лет в России евреи молчали, а тут вдруг подвернулся базар, какого еще не знало человечество — на одну шестую часть земли!

Странно, до сих пор нет исследования про русскую революцию семнадцатого года — я имею в виду обе революции: и Февраль и Октябрь — как величайшую в истории говорильню. Боже мой, кто только не говорил тогда: не стало косноязычных — все как один подались в Демосфены, Цицероны, Мирабо!

Крик стоял такой, что треть века спустя Светлов вспоминал с упоением: "Пятнадцатилетний "Ефимчик" славился по всей губернии как лучший оратор, громивший меньшевиков... Я подружился со Шпиндяком. Это был могучий парнишка, сын сапожника. Он картавил так, как не могут картавить, объединившись, двести евреев и французов. Но он считал себя великим артистом и читал популярные в то время стихи "Их расстреляли". Мне казалось, что он нарочно выбирал стихи, в которых попадалось наибольшее количество "р".

Подождите, это еще не все: "Берелович был совестью нашей комсомольской организации. Не было боя, в котором он не участвовал. Под его председательством меня приняли в члены комсомола. Был Яша Цитович — секретарь нашего губкома. Сын состоятельных родителей, он с головой ушел в революцию".

Говорильня, однако, для многих обернулась последним словом приговоренного: приговор выносила история, приводили приговор в исполнение — люди.

И вот возникает вопрос: верили люди в тогдашние свои слова или не верили?

Уже на склоне лет Светлов записал в своей книжке: "Если обратиться к нашей поэзии того времени, то мы увидим, что молодые поэты не только считали дело мировой коммуны почти завершенным, но и поглядывали на соседние планеты для установления на них более совершенного и справедливого строя".

А чуть дальше есть еще одна строчка: "Шли годы. Мы все меньше кричали и все больше думали".

Эта запись сделана в связи с судьбой Ицика Фефера. Но какое это имеет значение — в связи с кем или в связи с чем сделана запись. Нас, читателей, интересует одно: честно записал свои слова и мысли человек или не честно.

Я утверждаю: нет, не честно. Что кричали про мировую коммуно, про наш паровоз, у которого в коммуне остановка, верно. Что оглушали себя собственными своими воплями, тоже верно. Но что верили в это — неправда. Если бы верили настоящей верой, а не оболванивали себя да других собственными заклипаниями, не было бы нужды выступать под чужой личиной, не было бы нужды рядиться в чужие одежды, не было бы нужды фиглярить да скоморошничать. Шутовские колпаки и бубенцы — одежда холуя, потешника. А у свободных, у мушкетеров — другие костюмы и другие песни:

Трусов плодила
Наша планета,
Все же ей выпала честь, —
Есть мушкетеры,
Есть мушкетеры,
Есть мушкетеры,
Есть!

Да, все это так, но, с другой стороны, как сказал этот мудрый еврей Светлов, "в жизни, как и в искусстве, лучше всего видишь полузакрытыми глазами".

Так что давайте не будем смотреть на мир широко открытыми глазами — это приличествует ребенку, а мы не дети. Давайте смотреть на мир полузакрытыми глазами: так лучше для мира и для нас. И вообще, мы же не судьи, чтобы судить.

А Бог? Гейне был прав: "Бог... простит, это его ремесло".

ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ:

”ЖЕЛТОЕ И ЧЕРНОЕ”. Опыт исследования еврейской ментальности, вторая книга: Осип Манделштам, Борис Пастернак и др.

”РОДОСЛОВНАЯ”. Опыт исследования еврейской ментальности, третья книга: Илья Эренбург, Василий Гроссман, Самуил Маршак, Евгений Шварц и др.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

”МОТОЦИКЛЫ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ”. Повести и рассказы о русских женщинах.

”МОЙ СТАРШИЙ БРАТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО”. Небыкновенные рассказы.

В ПРОДАЖЕ КНИГИ АРКАДИЯ ЛЬВОВА:

”ДВОР”. Роман, книга первая, 322 стр.

”ДВОР”. Роман, книга вторая, 514 стр.

”БОЛЬШОЕ СОЛНЦЕ ОДЕССЫ”. Рассказы, 304 стр.

”БИЗНЕСМЕН ИЗ ОДЕССЫ”. Американские рассказы,
232 стр.



*"Лвов – выдающийся представитель русской после-
октябрьской прозы".*

"Новое Русское Слово"

*"Аркадий Лвов, бесспорно, самый блестящий писа-
тель, вышедший из России за многие годы".*

Дж.Кармайл, "Мидстрим"

"Аркадий Лвов – первоклассный рассказчик..."

"Нувэлль литэрэр"